



Герой Советского
М. ВОДОПЬЯ

ГОРДО
СЛОВО

Ю. А. Федосюк
знак моего
встречи на
Большой. Наме

Ю.А. Федосюк
Короткие встречи
с великими

BID OG VID

Tot Lani
med Huset
Huset for
Huset Huset

STIG VENDELKERS FORLAG
KØBENHAVN

О КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ
И КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ
И КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ

КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ
И КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ
И КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ

КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ
И КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ
И КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ

КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ
И КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ
И КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ

КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ
И КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ
И КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ

КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ
И КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ
И КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ

КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ
И КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ
И КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ

КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ
И КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ
И КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ

КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ
И КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ
И КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ

КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ
И КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ
И КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ

КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ
И КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ
И КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ

КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ
И КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ
И КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ



Annotation

Воспоминания Ю.А. Федосюка о многих выдающихся людях XX века можно сравнить с моментальными фотографиями.

И.В. Сталин и его грозный генеральный прокурор А.Я. Вышинский, гениальный композитор Д. Шостакович и один из самых знаменитых советских кинорежиссеров Г. Александров, писатели К. Симонов и А. Твардовский, музыканты Г. Нейгауз и Д. Ойстрах... Ни с кем из этих и многих других людей, о которых говорится в книге, автор не был знаком близко.

Однако, как справедливо утверждает мемуарист, иногда не долгое общение, а именно короткая встреча с человеком или даже наблюдение за ним издали дает возможность нарисовать его весьма похожий портрет, являющийся одновременно и фрагментом картины целой эпохи.

Для широкого круга читателей, интересующихся историей.

- Юрий Александрович Федосюк



- Несколько слов об этой книге

- Предисловие

- СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

- Григорий Александров

- Ираклий Андроников

- Виктор Ардов

- Борис Введенский

- Михаил Водопьянов

- Андрей Вышинский

- Александр и Сергей Герасимовы

- Вениамин Каверин

- Иван Козловский

- Сергей Меркуров

- Евгений Мравинский

- Сергей Наровчатов

- Генрих Нейгауз

- Давид Ойстрах

- Елена Полевицкая

- Виктор Розов

- Константин Симонов

- Иосиф Сталин

- Алексей Сурков

- Александр Твардовский

- Константин Федин

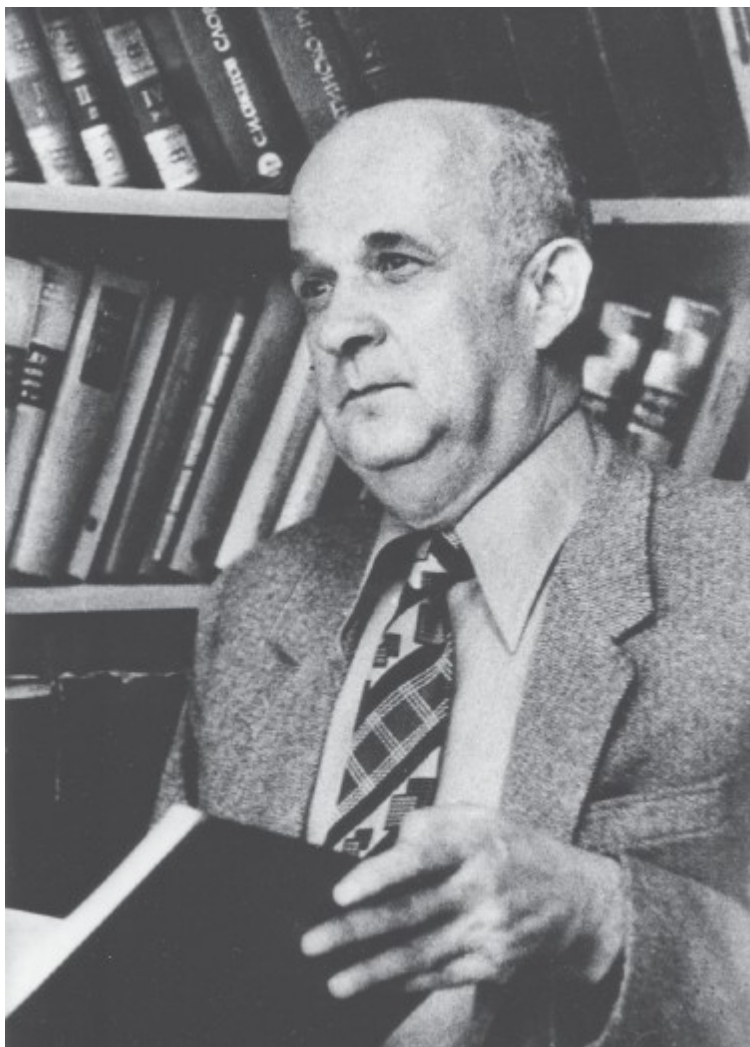
- Яков Флиер
- Юрий Шапорин
- Михаил Шолохов
- Дмитрий Шостакович
- Илья Эренбург
- ИНОСТРАНЦЫ
 - Мартин Андерсен-Нексе
 - Генрих Бёлль
 - Херлуф Бидstrup
 - Отто Гротеволь
 - Дзюндзи Киносита
 - Вальтер Фельзенштейн
 - Леонхард Франк
 - Арнольд Цвейг

- notes

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29

- ☐ 30
- ☐ 31
- ☐ 32
- ☐ 33
- ☐ 34
- ☐ 35
- ☐ 36
- ☐ 37
- ☐ 38
- ☐ 39
- ☐ 40
- ☐ 41
- ☐ 42
- ☐ 43
- ☐ 44
- ☐ 45
- ☐ 46
- ☐ 47
- ☐ 48
- ☐ 49
- ☐ 50
- ☐ 51
- ☐ 52

Юрий Александрович Федосюк
Короткие встречи с великими.
Воспоминания



Ю.А. Федосюк (1920–1993)

Несколько слов об этой книге

Решению опубликовать эту книгу предшествовали довольно долгие мои колебания.

С одной стороны, автор книги, мой отец, не собирался её издавать. Публикация этих воспоминаний, как написано в предисловии к ним, потребовала бы от мемуариста целого ряда совершенно необходимых и естественных купюр, которые вызваны общественными условностями, но, к сожалению, делают представление о любой личности обеднённым и идеализированным. А издавать «идеализированные» воспоминания отец не хотел.

С другой же стороны, в главе о Викторе Ардове Ю. Федосюк искренне сожалеет о том, что из-за этих самых общественных условностей сатирик, скорее всего, не записал большей части своих не вполне лестных для его знакомых, но в то же время остроумных и очень интересных воспоминаний. «Одна надежда, – пишет Ю. Федосюк, – возможно, Ардов всё же записал свои воспоминания о московском литературно-артистическом быте, и эти записки, хотя бы и негодные для современников, всё же сохранены и когда-нибудь увидят свет».

Руководствуясь именно этим последним соображением, думаю, что пришло время воспоминания моего отца опубликовать. Мне кажется, что книгу, о которой идёт речь, важно предложить вниманию читателей сразу по нескольким причинам.

Во-первых, трудно не согласиться с мыслью её автора о том, что заинтересованного внимания потомков заслуживают не только обстоятельные воспоминания о каком-либо известном человеке, записанные людьми, которые хорошо его знали, но и мимолетные впечатления тех, кто встретился с ним лишь один или два раза или вообще наблюдал только издалека. Без подобных впечатлений представления о любом человеке могут оказаться односторонними и неполными.

Во-вторых, полагаю, что за те двадцать лет, которые прошли с момента написания этой книги (а она была закончена в 1986 г.), история уже успела расставить почти всем её персонажам свои окончательные позитивные или негативные оценки. Поэтому те наблюдения над странными или смешными чёрточками в характерах или жизненных обстоятельствах, из-за которых Ю. Федосюк опасался публиковать свои воспоминания, никак не повлияют на эти оценки, а лишь помогут увидеть в «исторических личностях» живых людей, которым не чуждо ничто человеческое.

В-третьих, – и это, наверное, самое главное – я воспринимаю эту книгу как воспоминания не столько об отдельных людях, сколько о целой эпохе в жизни нашей страны – с жизнерадостными песнями из фильмов Г. Александрова и устрашающими деятелей искусства (да и не только их) постановлениями ЦК ВКП(б) (позднее КПСС), с весёлыми и многолюдными Первомайскими и Октябрьскими демонстрациями и долгими очередями в магазинах, с напряжённым ожиданием каждого номера журнала «Новый мир», который редактировал А. Твардовский, с бурными спорами о новых романах К. Симонова и пьесах В. Розова. В этой эпохе было много и хорошего, и плохого, но всё это – наша история, и её не следует забывать.

В заключение – несколько слов об авторе книги. Её написал Юрий Александрович Федосюк (1920–1993) – журналист, историк и филолог, известный своими мемуарами (Утро красит нежным светом...: Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов. М., 2003 и 2004), книгами по истории Москвы (Бульварное кольцо. М., 1972; Лучи от Кремля. М., 1978; Москва в кольце Садовых. М., 1982 и 1991) и по русской филологии (Что означает ваша фамилия? М., 1969 и 2006; Русские фамилии: Популярный этимологический словарь. М., 1972; переиздано в 1981, 1996, 2002–2006; Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века. М., 1998, переиздано в 1999–2006).

Поскольку многое из того, о чём говорится в этой книге, может быть, уже забыто читателями старшего поколения и совершенно неизвестно молодежи, я счёл необходимым снабдить её текст небольшим количеством подстрочных примечаний.

М.Ю. Федосюк

Предисловие

Подошла пора закрепить на бумаге всё, что помню о выдающихся современниках.

С некоторыми вообще не сталкивался вплотную, а видел с расстояния и мельком. Тем не менее впечатление, пусть обрывочное и поверхностное, осталось. Даже случайный, неподготовленный фотоснимок ценен тем, что запечатлевает человека, хотя бы и в самой неожиданной, казалось бы, нехарактерной позе.

Ни с кем из них много лет рядом я не прожил, пуда соли не съел. Но ведь метко сказал Есенин: «Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии». Неслучайно наихудшие мемуаристы – жены знаменитостей и лучшие их друзья. Едва ли случайно, что Вяземский, Соболевский, Нащокин не оставили воспоминаний о Пушкине: слишком много и близко они с ним общались. А Тургенев, только однажды в юности видевший Пушкина, подробно и ярко описал эту встречу.

Пишу только о том, что видел и слышал, что отчётливо помню. Главное – не наврать, не поддурманивать. Если поддаться такому искушению, то и писать не стоит, вся ценность записанного сойдёт на нет. Самое неточное – передача прямой речи. Память не магнитолента, услышанное раз никем не запоминается дословно, важно сохранить общий смысл сказанного, характерную лексику «героя», манеру его речи.

Заранее отвергаю обвинения в выпячивании своего «я». Человеческие контакты – процесс двусторонний, как бы ни разновелики были партнёры. Искусственно, ради формальной скромности вычёркивать себя из воспоминаний – значит обеднять мемуары. Великий сказал что-то не большому собранию, не по радио, а лично мне; я переспросил, тогда он добавил то-то именно мне – другому сказал бы как-то иначе или иное. Разрывать эту цепь – означало бы лишать её живительного тока полноты и достоверности.

Причина знакомств, как правило, чисто служебная. С1946 года я служил в ВОКСе^[1], затем в Совинформбюро и АПН^[2].

Написанное не предназначается для публикации, потому-то факты подаются без обязательного фильтра, требуемого общественными условностями и в конечном счёте делающего представление о личности обеднённым и идеализированным.

Помимо описания «собственно героя» в записях приводятся по смежности другие данные, прямо не связанные с героем очерка. Это не старческая болтливость, а сознательное намерение

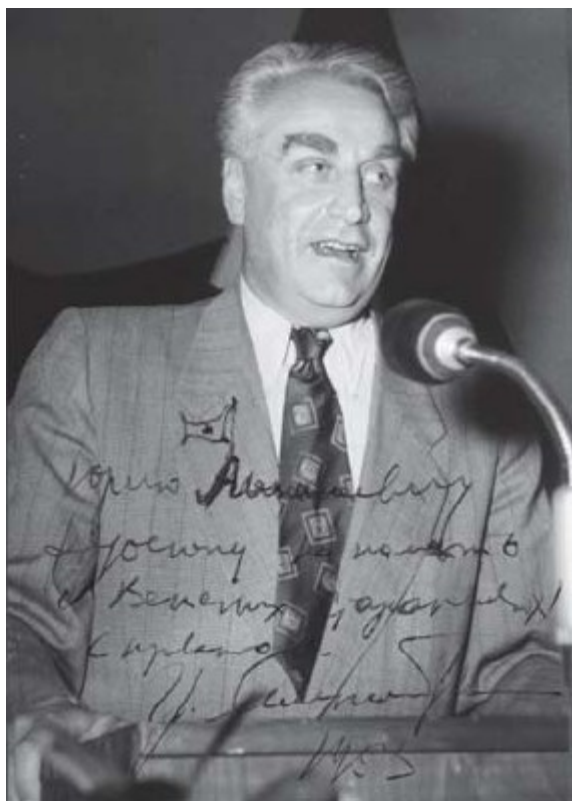
изложить всё, что кажется интересным, передаёт дух эпохи, но не отражено или слабо отражено в литературе и о чём особо я писать не стану.

Фактическая опора – краткие дневниковые записи в 2–3 строки, содержащие дату и перечень основных событий дня. Исключения редки: Шостакович, Шолохов, Розов. Запоздало каюсь: что стоило записывать **все** встречи с выдающимися людьми по горячему следу, подробно? Причины ясны: прежде всего лень, вечный цейтнот, главное же – всем нам свойственная мысль: велика ли важность, ведь он ещё жив и сотни других знают о нём куда больше, чем ты.

А вот уже и не жив, уходят в могилу и «сотни других», не оставив ни строки воспоминаний. Так меркнет для будущих поколений историческая личность во всём её богатстве и разнообразии, индивидуальной неповторимости и внешней непоследовательности поведения.

Очерки построены по алфавитному принципу – отдельно о соотечественниках и иностранцах. Читающий легко опустит персоналию, для него неинтересную, зато нужную отыщет без труда.

СОТЕЧЕСТВЕННИКИ



Г.В. Александров.

Фотография с дарственной надписью: «Юрию Александровичу Федосюку на память о венских стараниях. С приветом – Гр. Александров. 1953»

«Основоположник советской музыкальной кинокомедии» – таким останется в истории искусства Григорий Васильевич Александров^[3].

Я познакомился с ним в период «оттепели» – в мае 1953 года. Начали оживляться международные культурные связи. На 2-й конгресс Австро-советского общества в Вену было решено направить делегацию ВОКСа в составе Г.В. Александрова, Д.Д. Шостаковича, члена Правления ВОКСа Л.Д. Кисловой и меня. Александрова назначили главой делегации.

50-летний импозантный мужчина, рослый, плечистый, с благородной сединой. Густые брови, лучистые глаза, красивая

осанка. Чувствовал себя за границей совершенно свободно: много до того ездил по свету, к тому же в прошлом актёр. Своеобразный голос – баритон журчащего тембра. Речь неторопливая, с богатыми модуляциями, иногда в начале фразы прищипывал губами. Несколько деланная «обвораживающая» улыбка. После пресс-конференции одна венская газета противопоставляла Александрова и Шостаковича: первый – Weltmann, то есть светский человек, второй – углублённый в своё творчество затворник – одним словом, антиподы. Как личность легкомысленным венцам, разумеется, более импонировал Александров.

Общаясь внутри делегации, любил вспоминать прошлое: работу с Эйзенштейном, визит к Чарли Чаплину, сложное прохождение первой своей кинокомедии – «Весёлые ребята», которую неожиданно одобрил и тем самым спас от запрета киночиновников сам Сталин: «Почему же советскому народу, доблестно выполнившему первую пятилетку, не повеселиться, не посмеяться?» По его словам, Сталин очень любил этот фильм и неоднократно его просматривал. Он подарил Александрову свой портрет с автографом; портрет сильно попортился в войну – был закопан на дачном участке... О самом важном Александров рассказал в своих интересных мемуарах.

Всегда восторженно, с юношеской влюблённостью отзывался о своей жене – Любви Орловой. В то время она постоянно разъезжала по СССР с личными концертами, которые пользовались неимоверным успехом. Когда мы ходили по венским магазинам «отоваривать валюту», рассказал, как в одну из своих загранпоездки подыскивал ткань для Любви Петровны. «А какова внешность вашей супруги? Она брюнетка или блондинка?» – спросила продавщица и прикинула отрез к даме, изображенной на висевшем позади плакате. «Я поднял глаза и остолбенел, – не без гордости повествовал режиссёр. – На афише была сама Любовь Петровна. “Она именно такая!” – поведал я продавщице. Выбор ткани был облегчён.

Обедали в гостиничном ресторане вчетвером. По моему предложению, дабы не расплачиваться «по-немецки», то есть каждому за себя, ввели такой порядок: весь день за всех поочерёдно расплачивался кто-то один. Но не для всех это оказалось выгодным: иногда нас приглашали на приёмы, и дежурному «плательщику» в тот день приходилось платить меньше, чем другому в обычный день. Однажды в честь делегации был устроен приём в советском посольстве, «дежурил» в тот день Александров. Мы шутливо поздравили его с экономией на ужине. Он откинулся на стуле и иронически захохотал, но мне

показалось, что радовался он вполне искренне.

Вообще же я с удивлением заметил в этом благополучном, отнюдь не бедном человеке некоторую скарденность. Как-то делегация выступала в одном из районных отделений Австро-советского общества, в Вене. Я сидел в президиуме справа от Александрова. К концу собрания каждому из нас преподнесли из зала грошовые сувениры: альбомчики, шоколадки. Одна из шоколадок выпала из рук дарителя и очутилась на столе где-то между Александровым и мной. Мне показалось, что плитка предназначалась мне, и я придвинул её к себе. Тут же меня ожёг ревнивый взгляд Александрова. Думал, не отдать ли плитку ему, но решил, что вопрос спорный, да и обойдется великий режиссёр без шоколадки весом в 50 граммов. Каково же было моё удивление, когда вечером, перед сном, в мой номер постучался Александров. С обаятельной улыбкой он сказал: «Кажется, к вам случайно попала моя шоколадка?» Я покраснел, как схваченный за руку мелкий воришка, и отдал ему шоколадку. Александров пожелал мне спокойной ночи и в оставшиеся дни по-прежнему был со мной вежлив и предупредителен. А я, грешный, уже не мог относиться к нему по-прежнему, конечно же, не из-за самой шоколадки.

Постепенно я понял, что этот человек никогда и ни за что не отступится от своих интересов ни на миллиметр. Впоследствии одна из наших сотрудниц, некогда работавшая на Мосфильме, по какому-то случаю сказала мне: «Вы же знаете Александрова: он со своей лучезарной улыбкой через любую стену пройдёт».

Обратно в Москву делегация ехала поездом, много разговаривали. Александров рассказывал, как снимал фильм «Цирк». По его словам, он часто, но безуспешно приглашал на съёмки разного рода начальство, от которого зависело финансовое и материальное обеспечение съёмок: выходили из сметы. Но вот когда начались съёмки массовых эпизодов на арене с голоногими гимнастками (дерзость по тому времени большая), от начальства, внезапно остро заинтересовавшегося фильмом, отбою не стало.

Время было переломное: культ Сталина будто бы отмирал, но и ругать недавнего вождя было рискованно. Побаяваясь друг друга, мы говорили осторожно, недомолвками. В связи с недавней реабилитацией врачей, обвинённых в январе 1953 года как отравители и сразу же после смерти Сталина выпущенных из тюрьмы, Александров рассказал анекдот:

«Встречаются двое:

– Что нового?

– Да почти как у Саврасова: весна, врачи прилетели».

Поведал нам, что возглавлял съёмочную группу, снимавшую похороны Сталина. Фильм должен был быть полнометражным, цветным, не спали несколько ночей. Когда всю отснятую плёнку сдали на утверждение, с тем чтобы приступить к монтажу, дело застопорилось. В ответ на запросы слышалось одно и то же: «Не спешите, успеете». Наконец последовал окончательный ответ: «Фильм решено не выпускать: не надо беречь свежую рану в душе народной».

Мы промолчали, задумавшись, но тут Александров, лукаво ухмыльнувшись, рассказал историю о московской Сельскохозяйственной выставке^[4]. Весной выставка реконструировалась.

В числе прочих предписаний её директор академик Цицин получил указание убрать стоявшую в центре территории гигантскую статую Сталина. Академик оказался в затруднении: «Убрать-то я её уберу, но куда такую огромную скульптуру поместить?» – «Это ваше дело, вы директор». Цицин, разумеется, не решился пустить в ход отбойные молотки, мерещилась Колыма, всюду статуи Сталина ещё стояли на месте. Он распорядился построить длинный крытый сарай, куда и была помещена в лежащем положении бережно снятая с постамента статуя.

Мы снова призадумались.

А тут ещё я обнаружил на гвозде вагонной уборной обрывок газеты «Правда», вышедшей за время нашего отсутствия в СССР, с подвалом «Маркс и Энгельс о культе личности». Имя Сталина там ни разу не упоминалось, но всё содержание недвусмысленно намекало на него. Я с увлечением прочитал статью и жаждал поведать о ней своим спутникам. Но кому? Шостакович казался мне человеком не от мира сего, Кислову, свою начальницу, я побаивался и показал газету только Александрову. Тот с удовольствием прочитал, произнес только «м-да» и вдруг спросил:

– А Кисловой вы показали?

– Нет, – ответил я, смешавшись.

– А почему?

– Неудобно давать женщине сортирный обрывок.

Александров понимающе улыбнулся.

По приезду в Москву Александрову предложили выступить на заседании киносекции ВОКСа с докладом о современной австрийской кинематографии. Он согласился, чем удивил меня: новейших австрийских кинофильмов (кстати, весьма слабых) он в Австрии вовсе не смотрел, хотя и побывал на какой-то кинофабрике; единственный фильм, который мы всей делегацией

смотрели в Вене, был знаменитая американская мелодрама «Унесённые ветром». Для обзорной лекции никакого материала у Александрова не было.

Однако же я плохо знал его: тут же Александров появился в моём кабинете и с обаятельной улыбкой попросил меня перевести из австрийской прессы статьи о новых фильмах и о положении кинематографии в целом, что я послушно и сделал. На заседание киносекции собрались многие заинтересованные деятели нашего кино. Я воображал, что докладчик составит из моих обрывочных переводов нечто вроде цельной лекции. Не тут-то было. Не выпуская из рук мои переводы и не сводя глаз с текста, Александров прочитал всё, что там было довольно сумбурно и клочковато напечатано, добавив только несколько фраз о посещении кинофабрики и о встречах с австрийскими кинодеятелями. Всё было преподнесено так, словно он сам лично просмотрел все названные кинофильмы, хотя он не видел ни одного, да и оценки были чужие. По окончании успешно проведенного мероприятия он галантно подошёл ко мне и поблагодарил за дружескую помощь. Надо отдать ему, однако, справедливость: в прессе он с моим материалом не выступил.

Во время поездки Александров говорил со мной о своеобразном восприятии советской действительности приезжими иностранцами. На сей счёт у меня, работника ВОКСа, было немало впечатлений и наблюдений, я поведал ему несколько забавных историй, Александров попросил меня изложить всё на бумаге: пригодится-де для задуманной им кинокомедии. К написанию сценария он привлёк известных в то время драматургов – братьев Тур.

9 ноября 1954 года все мы собрались в античном дворике нынешнего Дома дружбы^[5]. Попутно Александров рассказал нам о том, как выступал здесь в 1920-е годы в эйзенштейновской постановке комедии А.Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Александров играл роль Глумова и по ходу действия шёл по канату с балкона на сцену – столь эксцентрична была трактовка пьесы. Мне трудно было представить себе грузнеющего мужчину в качестве канатоходца, но это факт: свою карьеру Александров начинал акробатом. Сын екатеринбургского булочника (так он писал в анкете) по фамилии Мормоненко (Александров – псевдоним), он с юных лет стал приверженцем левого, пролеткультовского искусства и верным учеником Эйзенштейна: вместе с ним снимал фильм «Броненосец Потёмкин». В разговорах с членами делегации я как-то напомнил остальным, что в этом фильме, кроме того, Александров исполнял роль морского офицера Гиляровского, которого

восставшие матросы сбрасывают с борта в воду. Памятливость моя была явно приятна Александрову, он добавил: «Да, здорово мне тогда пришлось искупаться в морской воде – ведь было несколько дублей!»

Совещание с братьями Тур оказалось малопродуктивным. Написав свои заметки об иностранцах, я понёс их Александрову на квартиру. Он жил в большом доме, переполненном знаменитостями, на улице Немировича-Данченко. Хозяин сам любезно открыл мне дверь, познакомил с сыном, не то студентом, не то аспирантом ВГИК по прозвищу Джон – весьма бледным и бесцветным юношей, очень слабой копией респектабельного отца. Визит был недолог: режиссёр обещал прочесть мою рукопись, уже у двери остановил меня и спросил: «Быть может, вы нуждаетесь в деньгах, тогда я сейчас заплачу вам» – и вынул толстый бумажник. Я – нуждался, но такой сугубо частный метод расчёта меня оскорбил, и я гордо отказался.

Фильм об иностранцах в СССР, который снял Александров, назывался «Русский сувенир». Он потерпел оглушительный провал и быстро сошёл с экранов. Творчество Александрова, когда-то новатора, а затем остановившегося в своем мастерстве и не сумевшего нащупать новый «пульс времени», стало катастрофически увядать. Злополучный фильм, в создании которого я должен был принять малое участие, так и не был увиден мною, осталось ли что-нибудь из моих подсказок, сказать не могу. Александров мне не звонил, гонорара от Мосфильма я не получал.

Вскоре после возвращения из Австрии, 4 июля 1953 года, Александров пригласил меня и Кислову в гости к себе на дачу во Внуково. Дача оказалась не просто комфортабельна – она являла собой нечто вроде музея с экспонатами, привезёнными владельцем из разных стран мира. Неприятно подействовали уменьшенные засушенные человеческие головы – традиционный боевой трофей мексиканских племён. Любовь Петровна была в турне, нас обслуживала сестра Александрова – милая старушка, которая угостила вкуснейшей клубникой, выращенной около дачи. Мы обошли все комнаты дачи: потрясла спальня Любви Орловой с широченной деревянной кроватью, покрытая немыслимым кружевным покрывалом.

Александров принял нас радушно, но проявлял некоторое возбуждение. Первым вопросом, который он нам задал, был вопрос, видели ли мы среди огромных портретов членов Политбюро, поставленных на развилке с Подушкинским шоссе, портрет Берии^[6]? Мы признались, что не обратили внимания. А что?

– Только что был сосед, Алексей Сурков, прямо с чрезвычайного пленума ЦК. Сенсация: Берия наделал делов, его разбিরали.

– И что, исключили из членов Политбюро? – спросил я.

– Мало что исключили, тут дело похуже. В общем, подробности завтра в газетах.

Мы решили не пускаться в рискованные рассуждения: верить не верилось, что с всемогущим Берией что-то могло случиться.

Александров усадил нас возле зажжённого камина, разлил ликёр и стал исполнять под гитару любимые им латиноамериканские песни: «Вот как поёт “Челиту” Шульженко, а вот как эта песня звучит по-настоящему». Разница действительно была велика. Заодно он сообщил, что его соседи по Внукову Шульженко и Утёсов очень обижены, что народ их давно признал, а звание народных они до сих пор не получили.

В своем кабинете хозяин показал нам толстые папки – заготовки для задуманного фильма о Чайковском. Фильм, как известно, снят был много позднее и не Александровым. Но тогда он был вдохновлён этой идеей, разрабатывал сценарий. «Мне видится Чайковский как Шостакович, – сказал он. – Оба крайне похожи по характерам. Дмитрий Дмитриевич обаятельный, трогательный, тактичный, таким же был Пётр Ильич. Я просто обожаю Дмитрия Дмитриевича».

Поздно вечером мы покинули дачу. Портреты членов Политбюро на шоссе не были освещены, так что мы не заметили отсутствия среди них Берии. Но радио на следующее утро развеяло все сомнения.

Последний раз я видел Александрова на клубном вечере в АПН. Он показывал только что отснятый им документальный фильм «Ленин в Швейцарии», ради которого несколько месяцев вместе со съёмочной группой ездил по этой стране. В фильме подробнейшим образом были показаны все места, связанные с Лениным, но я чувствовал, что режиссёр увлекся: Ленин в фильме был приземлён, показан как рядовой человек. «Вот тут он обедал, тут пил пиво, до которого был большой охотник, по этой дорожке катался с Крупской на велосипеде, а тут жила его тёща» и в том же духе. Интересны были и устные комментарии Александрова, не вошедшие в текст фильма: «А в этом кафе Ленин встречался с Георгием Гапоном, которому весьма доверял», «А за этим бильярдным столом часто можно было видеть Владимира Ильича с молодым Муссолини, страстным бильярдистом, тогда тоже находившимся в Цюрихе в эмиграции» и т. п. Как я и полагал, фильм так и не вышел на широкий экран.

По окончании вечера я столкнулся с Александровым на

лестничной площадке. Он крепко пожал мне руку, мы обменялись несколькими незначущими фразами. То была моя последняя встреча с этим кинорежиссёром.



И.Л. Андроников

С развитием массового телевидения Ираклий Андроников, известный своими устными рассказами сравнительно узкому кругу людей, предстал перед миллионами^[7]. Предстал и полюбился – не только подражательским талантом, но прежде всего умной простотой, высокой культурой, которой делился не свысока, а непринуждённо, легко и непосредственно. Его «Рассказы о Лермонтове» покорили всех. И меня в том числе.

В апреле 1955 года мне поручили предложить состав делегации ВОКСа для поездки в Австрию. Нужен был и литератор. Я подумал: а почему бы не послать Андроникова? Поначалу идея показалась несостоятельной: во-первых, человек не писатель первого ранга, во-вторых, тематика его творчества сугубо внутренняя, рассчитанная на русского читателя: кого на Западе потрясёт его «тагильская находка» или путешествие по маршруту Лермонтова? К тому же Андроников ни разу не был за границей и не привык отбиваться от обычных там политических нападков. Тем не менее я рискнул предложить Андроникова, знакомого мне преимущественно благодаря телевидению.

К моему удивлению, начальство согласилось; вероятно, ему тоже полюбился Андроников, увиденный по телевизору.

Я пригласил писателя прийти в ВОКС. И вот в комнату, где мы сидели за столами (ныне музыкальный салон Дома дружбы с народами зарубежных стран, а прежде молельная Морозовых), не вошёл, а вкатился небольшой округлый человек с лицом

располневшего зайца: чуть раскосые глаза, широкий рот, небольшой подбородок.

Он был радостно возбуждён: первая поездка за границу! Да ещё в такую страну давних культурных традиций, как Австрия. Я объяснил ему задачи делегации, его лично. Когда пришлось составлять какой-то документ, он настойчиво стал предупреждать: фамилия его пишется с одним «н», часто пишут с двумя. Спросил, придется ли ему в Австрии выступать с устными рассказами: явно очень хотелось. Я охладил его, выразив сомнение: через переводчика рассказы потеряют очень многое, а кто в Австрии знает русский язык? Спросил, что брать с собой, нужны ли лакированные полуботинки? Только на случай выступлений – ответили ему.

В составе делегации помимо Андроникова были математик Маркушевич, художник Сергей Герасимов и конькобежка Римма Жукова. В Австрии Андроников понравился, ему даже где-то удалось выступить со своими устными рассказами. Он вошел в постоянный актив ВОКСа, а затем Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами. Вскоре после Австрии его направили в Румынию, затем он объездил много стран. Я горд, что положил начало его заграничным разъездам.

С тех пор Андроников часто заходил в комнаты, где я работал (а они менялись), оживлённо и смешно рассказывал о различных своих впечатлениях, причём всегда талантливо и увлекательно. Он владел легковой автомашиной с нанятым шофёром; однажды довёз меня почти до дома. По дороге не умолкал... Увы, темы его рассказов стёрлись в памяти. Помню, в машине я выразил восторг только что прочитанными воспоминаниями Сереброва. В прессе их единодушно ругали, я думал, что Андроников присоединится к мнению критики. Но он сказал: «Есть люди, обладающие лишь одним, но редким и удивительным талантом – мемуариста. Таков Серебров».

Тогда же, не помню в связи с чем, он заметил: «Многие меня по внешности считают таким удобным и уступчивым добрячком. Но это не так: когда надо, я умею показать зубы».

Однажды в нашем отделе завязался спор: моя начальница уверяла, что Андроников из грузинских князей, я оспаривал. Решили спросить его самого. Он заговорил быстро и возбуждённо: «Бывали времена, когда этот вопрос беспокоил многих, особенно кадровиков. Повторю то, что говорил всегда: я из дворянского рода Андроникашвили, весьма, кстати, захудалого, но никак не княжеского происхождения».

Визиты Андроникова всегда становились маленькими

праздниками, отрадными перерывами в нашей тусклой чиновничьей жизни. Почти каждый визит выливался в импровизированный концерт. При этом состав и численность аудитории для исполнителя не имели никакого значения. Крохотный отдел Центральной Европы, который я вскоре возглавил, состоял всего из пяти человек, сидели мы в небольшой комнатке. Именно тут Андроников представил нам грандиозный торжественный вечер, посвященный 50-летию Шостаковича. Он попеременно перевоплощался в различных участников вечера: то в тогдашнего министра культуры величественную Фурцеву, более всего обеспокоенную тем, чтобы не случилось какой накладки, то в представителей различных творческих союзов, нелепо стоявших в очереди к юбиляру с поздравительными адресами в руках. После каждого приветствия растерянный, смущенный Шостакович – в его пародировании Андроников превзошёл самого себя – лепетал: «Благодарю вас, благодарю» и делал неловкое движение руками и ногами. От смеха мы едва не падали со стульев.

От Союза писателей приветствовать юбиляра должны были поэт Семён Кирсанов и сам Андроников. «Мы являли собой прекомичную пару, – комментировал Ираклий Луарсабович. – Оба маленькие, полноватые – словом, Бобчинский и Добчинский.

Одно наше появление вызвало дружный смех всего зала, словно клоуны вышли на арену.

К тому же мы не договорились, кому держать и вручать адрес, – уже на сцене началось вежливое выхватывание адреса то одним, то другим. Я произнёс приветствие, причем, кажется, вместо “Дмитрий Дмитриевич” сказал “Семён Исакович” – так звали Кирсанова. Усталый Шостакович плохо вслушивался и растерянно вытащил из моих рук адрес ещё до окончания речи. И в знак благодарности сделал вот так, ножкой – как молодой мустанг».

Я не был на юбилее, но видел потом кинохронику – всё сказанное и показанное Андрониковым, включая и приветствие от Союза писателей, было сильнейшим преувеличением, никаких ошибок и накладок, смеха аудитории не было. Но показанный им номер являл собой образец такой искромётной сатиры и умения воссоздавать комические черты участников церемоний, что жаль – никто на запечатлел эту импровизацию на киноплёнку. Ничего подобного в концертных выступлениях Андроникова я не видел и не слышал.

Другой раз, уже в Совинформбюро, он показывал нам эпизод из своего пребывания в Париже, где «вцепился», по его выражению, на одном приёме в бывшую графиню Кушелеву-Безбородко, которая, как он полагал, должна была что-то знать о

затерявшихся во Франции материалах, связанных с Лермонтовым. Тут вежливая и целеустремлённая настойчивость Андроникова наталкивалась на искреннее недоумение и непонимание старой аристократки. Из-за этого комичного диалога был якобы нарушен церемониал приёма, а графине, как и московскому гостю, не досталось места за столом... При этом рассказчик беспощадно высмеял не только придурковатую графиню, но и самого себя, в пылу расспросов потерявшего всякое чувство меры и понимания обстановки. В самой беседе ничего содержательного не было, но комизм ситуации Андроников передал с такой обобщающей силой, что слёзы смеха буквально текли у нас из глаз.

На следующий день выяснилось: преисполненные впечатлений слушатели – всего нас было человек семь, – придя вечером домой, попытались передать домочадцам этот спектакль Андроникова. Выяснилось, что в каждой семье произошло одно и то же: воспроизведение оказалось настолько убогим, что никто и слушать не стал: «И что тут смешного?» Без актёрского таланта исполнителя рассказы Андроникова, даже опубликованные, теряют более половины.

В таких интимных концертах Андроников вёл себя не так, как на эстраде. Заметно было, что он тщательно следил за реакцией слушателей, переводил глаза с одного на другого, а иногда – что противоположано юмористу – разражался непринуждённым хохотом сам.

Впрочем, пышущий юмором Андроников мог быть и вполне серьёзным и слушать вполне внимательно. Однажды (это было в октябре 1955 года) мне поручили «организовать пребывание в СССР» группы главных редакторов крупнейших австрийских газет. На обед в гостинице «Москва» пригласили тогдашнего заведующего отделом печати МИД близкого сподвижника Хрущёва Л.Ф. Ильичёва и Андроникова. После обеда Ильичёв решил продолжить с гостями беседу в укромном уголке ресторана. Пошли и мы с Андрониковым, которого я допекал всякими примитивными вопросами, вроде «Князь Синодал в лермонтовском «Демоне» не есть ли князь, владевший селением Цинандали?». Но необычно серьёзный Андроников вежливо остановил меня, твёрдо сказав: «Сейчас давайте послушаем». И слушал очень внимательно, сосредоточенно.

Человек он был очень добрый, отзывчивый. Говорю «был», потому что после трагической гибели своей дочери Мананы, говорят, он сильно сник, постарел и замкнулся в себе. А в 1950–1960-е годы лучился энергией и жизнерадостностью. У меня сохранилось письмо его – отзыв на написанную мною статью о словаре архаизмов. В этом письме чувствуется огромная эрудиция

в области дореволюционного государственного устройства и быта России, а главное – великая доброжелательность. Храню и открытку с новогодним поздравлением, содержащую очень добрые неформальные пожелания. В одну из случайных встреч (в аэропорту Шереметьево, в 1970 году, когда Андроников возвращался из командировки в Швейцарию, где искал архив народника Южакова) он говорил мне, что с большим интересом читает в журнале «Наука и жизнь» мои статьи об этимологии русских фамилий.



Поздравительная открытка И.Л. Андроникова

Ираклий Андроников, бесспорно, явление в русской культуре необыкновенное. Уникальное сочетание в одном лице незаурядного литературоведа-открывателя и устного рассказчика, талантливого пародиста-подражателя исторических лиц, обеспечит ему популярность не только при жизни, но и, благодаря многочисленным записям и съёмкам, на многие десятилетия вперёд.

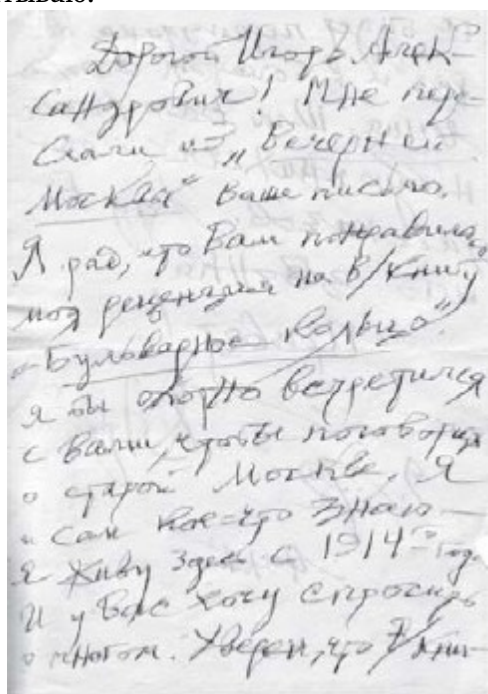


В.Е. Ардов

Вскоре после выхода в свет моей книги «Бульварное кольцо» 12 сентября 1972 года в «Вечерней Москве» появилась небольшая хвалебная рецензия за подписью – Виктор Ардов^[8]. Рецензент, лично незнакомый, но известный мне как сатирик и комедиограф, отмечал обилие и достоверность сведений о бульварах, приведённых в книге.

Месяцем позднее Ардов прислал мне по почте огромное письмо – машинописную тетрадку – с отзывом на мою книгу, 24 страницы! Собственно, это был не столько отзыв, сколько личные воспоминания о домах Бульварного кольца и людях, связанных с ними, которые моя книга всколыхнула в душе старого писателя. «Лично Вам небесполезно будет познакомиться с замечаниями старика, вся жизнь которого прошла на Бульварном кольце». Оказалось, что Ардов, приехав из Воронежа, с 1914 года жил на нынешнем Гоголевском бульваре и учился в Первой московской

гимназии, расположенной на том же бульваре. Письмо Ардова, по существу, увлекательная брошюра, которую я бережно храню, читаю и перечитываю.



Дорогой Игорь! Мне пере-
стали из "Вестника
Москвы" Ваше письмо.
Я рад, что Вам понравился
мой рецензия на в/книгу
"Бульварное кольцо".
Я бы охотно встретился
с Вами, чтобы поговорить
о старой Москве. Я
сам все-то знаю —
Я живу здесь с 1914-го.
И у Вас хочу спросить
о многом. Уверен, что Вы

Фрагмент письма В.Е. Ардова Ю.А. Федосюку



Обложка письма-брошюры В.Е. Ардова с его воспоминаниями о Бульварном кольце

Я написал Ардову благодарственное письмо, потом позвонил. Он пригласил меня к себе, сказав, что может рассказать мне ещё многое для меня интересное.

В холодный осенний день 1972 года я разыскал на Большой Ордынке квартиру Ардова в неуютном флигеле старого дома; крутые лестницы широкой лестничной клетки вели на верхний этаж. Дверь мне открыл пожилой худощавый мужчина со жгучими глазами испанца и бородкой Мефистофеля. Никакой деланной вежливости, простота самая натуральная. Одет он был в затрапезную куртку, мятые брюки и шлёпанцы. Повел в столовую, усадил на диван и начал говорить, словно мы уже давно были знакомы. Мимо сновали члены семьи – никаких знакомств, предложений попить чаю. Домашние, видимо, привыкли к такого рода гостям и ни малейшего интереса ко мне не проявляли. В столовой стоял большой стол, диван, старинные кресла. Вокруг – стеклянные горки со множеством миниатюрных фарфоровых безделушек.

Ардов сообщил, что в этой квартире жил его пасынок и воспитанник актёр Алеша Баталов. Он очень, видимо, им гордился: фотографиями молодого Баталова была увешана вся стена в столовой. К тому времени (1972 год) артист заимел

собственную квартиру, недавно женился вторично, кажется, на цыганке...

Вообще же квартира интересная: в ней часто останавливалась Анна Андреевна Ахматова, ставшая как бы членом семьи Ардовых. Он показал мне маленькую комнату, в которой жила поэтесса, – справа от входа. Сейчас всё это известно, но тогда всё мне было внове: я очень удивился такому сочетанию: величественная, трагедийная Ахматова и «хохмач», как его называли, Ардов. Сатирик имел незаурядное мужество опекать Ахматову и помогать ей в годы самых жестоких гонений на неё, ничто его не смущало и не страшило. Бесспорно, он продлил жизнь поэтессы, рискуя своим благополучием. Это для того времени – подвиг. А я ведь знал, что в литературных кругах никто к нему не относился серьёзно, слышал эпиграммы, посвящённые ему: «Искусству нужен Виктор Ардов, как ж... пара бакенбардов» или: «Искусству нужен Виктор Ардов, как писсуар для леопардов». Стишки, никак не навевающие мысли о поэзии Ахматовой.

Ардов, недавно купивший в книжной лавке писателей мой словарь фамилий, спросил: «А вы знаете, откуда моя фамилия?» Я ответил неверно, он поправил: «Ардов – от Сефардов, а сефардами называли евреев – выходцев с Пиренейского полуострова». Думаю всё же, что это выдумка, Сефардов – такая фамилия мне нигде не встречалась – скорее всего, это первый псевдоним Ардова, родовая же его фамилия иная.

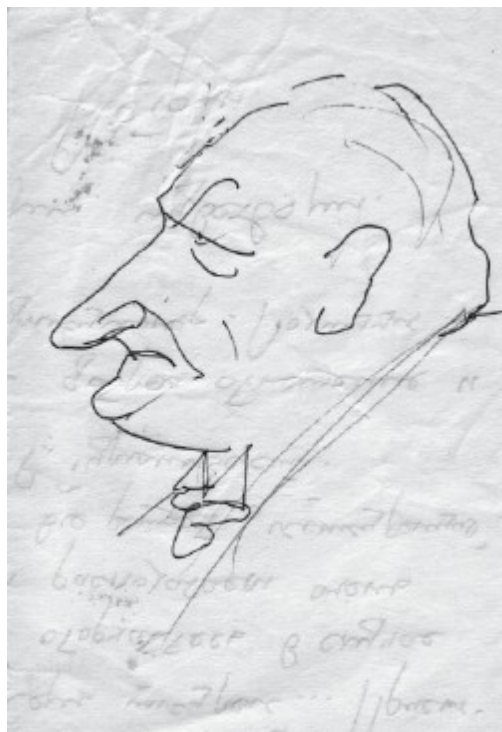
Затем пошло самое интересное – рассказы, героями которых были именитые люди, широко известные в 1910–1920-е годы. Не было, казалось, знаменитости в мире искусств, которой бы Ардов не знал лично. Но более всего он рассказывал о Демьяне Бедном, его амурных делах. О том, как его отбила от старой жены актриса Малого театра Лидия Назарова. Как-то при выходе из театра Ардов увидел, что в персональную машину Бедного усаживается Назарова. Красотка, поймав удивленный взгляд Ардова, мигнула ему и самодовольно щёлкнула языком: вот-де, знай наших. Вскоре она стала женой Демьяна Бедного. Позднее Назарова играла Дездемону в «Отелло», роль Отелло исполнял Остужев.

Прозвучали весьма фривольные, но очень остроумные эпиграммы как самого Демьяна Бедного, так и в его адрес. Кипучий писательски-актёрский быт 1920-х годов предстал передо мною в рассказах Ардова во всей своей полноте и красочности. Вспомнились булгаковские описания в «Мастере и Маргарите» и «Театральном романе». Я не смел перебивать, иначе спросил бы и про Булгакова, и про Маяковского, с которыми, хозяин, бесспорно, общался... Характерно, что 1930-х годов

писатель уже не касался, они явно казались ему не столь яркими.

Любопытно, что меня, человека, пришедшего к нему впервые и без всяких рекомендаций, Ардов никак не стеснялся и не опасался: он давал людям весьма смелые характеристики, запросто упоминал и «врагов народа» вроде Бухарина. Как-то случайно речь перекинулась на наши дни. Упомянули Брежнева, тогдашнего генсека. Ардов очень спокойно сказал: «Знаете, главное то, что он не злой человек. Я несколько раз встречался с ним в Политуправлении фронта. Весьма терпимый человек... Неслучайно про него почти не ходит анекдотов, тем более ядовитых. Ведь самая ехидная острота в его адрес – “Бровеносец в потёмках”, не правда ли?» Совершенно не сомневался, что я эту остроту знаю.

Далее Ардов стал рассказывать всякого рода смешные истории про А.И. Южина, которого после революции назначили директором Малого театра. Южин был другом и свояком Немировича-Данченко, женаты они были на сёстрах. Ардов хорошо помнил Южина и на сцене, в героических ролях. «А Южин был красив?» – поинтересовался я. «Нисколько, – ответил Ардов, – полный, носатый, небольшого роста. Впрочем, лучше я вам его нарисую». И взяв клочок бумаги, одним движением руки нарисовал весьма точную карикатуру на Южина, до сих пор мною хранимую.



Тут я лишний раз убедился, что литературный и художественный талант часто умещаются в одном человеке: Ардов был незаурядный рисовальщик.

Очень своеобразен почерк Ардова – развязно-размашистый, гротескный, словно предназначенный потешать детей.

Увидев на полке над дверями толстые папки, явно содержавшие рукописи, уходя, я спросил: «Вы так много интересного помните, почему бы вам не издать мемуары?» (При этом понимал, что самое интересное, о чём мне поведал Ардов, публиковать нельзя: это слишком правдиво и злоязычно, такие истории несправедливо называют сплетнями, хотя слово «сплетня» от «плести небылицы»; о современниках принято писать только в возвышенных тонах, Ардов же говорил о них без всякой враждебности, но и без прикрас.)

На мой вопрос хозяин пробурчал нечто неопределённое; может быть, подивился моей наивности. Думаю, что даже об Ахматовой он мог бы написать только весьма невыгодное для великой поэтессы – таков был склад его ума.

Спускаясь по лестнице, я думал: крутоват был этот подъём для пожилой сердечницы. И всё же тут был едва ли не единственный кров в огромной Москве для Ахматовой.

Уже после смерти сатирика вышла книга его заметок и воспоминаний, чувствуется, тщательно профильтрованная. Она содержит немало наблюдений и характеристик, но все они весьма невинного толка. Книга прошла незамеченной. То, что я слышал из уст автора, и даже то, что он написал мне в своем «письме», стократ интересней.

При прощании я сказал Ардову, что намерен продолжать писать о старой Москве и рассчитываю на его помощь. Он с доброй готовностью обещал содействовать мне в написании очередной книги – «Лучи от Кремля»; приглашал заходить. Желая закрепить контакт, я поздравил его письменно с новым, 1975-м годом. Он тут же ответил мне открыткой:

«Дорогой Ю.А.! Спасибо за поздравление к Новому году. И Вам желаю всего лучшего. Буду рад побеседовать с Вами о В/будущей книге. Сообщу всё, что смогу.

Жду Вас.

3/1 75. В. Ардов»

Я решил идти к Ардову с готовой или хотя бы полуготовой рукописью, дабы она побудила его к новым воспоминаниям.

В наших планах и помыслах мы чаще всего неисправимые оптимисты: к чему торопиться, впереди бескрайняя река времени.

Не успел я закончить рукопись, как 17 марта 1976 года прочитал в «Литературной газете»: «Ушёл из жизни старейший советский писатель-сатирик Виктор Ефимович Ардов».

Не могу простить себе, что за текучкой дел не зашёл к нему хотя бы с накопившимися вопросами. Особо клянусь себя за то, что не записал по свежей памяти рассказов, слышанных в его квартире, – почти всё выветрилось. Одна надежда: возможно, Ардов всё же записал свои воспоминания о московском литературноартистическом быте и эти записки, хотя бы и негодные для современников, всё же сохранены и когда-нибудь увидят свет.



Б.А. Введенский

Недавно, проезжая по дальнему району московского Юго-Запада, я услышал от водителя автобуса объявление: «Следующая остановка – улица Введенского» и не смог сдержать улыбку. Дело в том, что мои воспоминания об общении с выдающимся радиофизиком, академиком, Героем Социалистического труда и так далее можно уподобить узкой щёлочке, через которую этот большой учёный виден только в комическом свете^[9].

В ноябре 1952 года власти ГДР пригласили на празднование 35-летия Октябрьской революции советскую культурную делегацию. Во главе её был поставлен столь крупный деятель, как Введенский, в то время ко всему прочему главный редактор Большой советской энциклопедии. Непосредственная подготовка делегации и обеспечение её отъезда были поручены мне.

Заочно Введенский представлялся мне властным, энергичным человеком, могучим организатором. Ничего подобного! Даже внешне он разочаровал меня: узкоплечий, с обвисшими щеками, ввалившимися глазами великомученика, он казался тяжело больным. Весь он был начисто лишён чётких линий и уверенных

движений. Введенский отлично подошёл бы на роль профессора Серебрякова в чеховском «Дяде Ване». Кажется, до того – во всяком случае, в советское время – он ни разу не бывал за границей. Ответственная поездка, да ещё в роли руководителя делегации, бесспорно, пугала его, особенно частые переезды и вообще изменение привычного образа жизни. К возложенной на него миссии он отнёсся чрезвычайно серьёзно.

Из-за этого начались не только его, но и мои страдания. Со всякими предотъездными вопросами академик, разумеется, начал обращаться в соответствии со своим рангом непосредственно к высшему моему начальству. Но руководство весьма вежливо предложило неугомонному учёному обращаться прямо ко мне, ответственному за отправку делегации, «знатоку ГДР». Последнее было сильно преувеличено: в сталинские времена, особенно в 1948 году, нас, рядовых чиновников, за границу пускали неохотно, и я в ГДР к тому моменту не побывал, о чём мне было стыдно признаться не только Введенскому, но и кому бы то ни было.

Так или иначе, но то сам академик, то его властная супруга начали беспрестанно атаковать меня по телефону. Первые два раза при этом, представляясь, академик подчёркивал нервным и расслабленным голосом: «Введенский, через два «в», ни в коем случае не через одно». Уже только это начинало меня бесить. Вопросы же были такого рода:

- А какова погода в ГДР и какой она будет во время поездки?
- Брать ли зонтик? Демисезонное или зимнее пальто?
- Какие лекарства взять с собой? Есть ли в поезде врач?
- Какие лекарства таможня может отобрать?
- Точно ли в Берлине будут встречать, не забыли ли вы сообщить им номер поезда и вагона?
- На сколько время в Берлине отлично от московского?
- Будет ли среди встречающих коллега Мюллер (или другая фамилия старого знакомого Введенского)?
- Можно ли взять с собой научные труды для подарков? Как их оформлять?

И так далее и тому подобное. Самое ужасное, что вопросы задавались не в комплексе, по мере накопления, а как только приходили в голову; таким образом, звонок ко мне раздавался едва ли не каждые полчаса. На большинство их ответа я не знал, обещал выяснить, это требовало времени, следовали новые нервные звонки с напоминаниями. Уверенных ноток «знатока ГДР» академик в моем голосе не слышал, это его тревожило и раздражало. Звонки учащались, тон учёного становился недовольным и плаксивым. Начав паковать за четыре дня,

супруги Введенские, по мере отбора предметов, впадали во всё новые и новые сомнения и недоумения. Я медленно погружался в отчаяние.

Последней каплей оказался звонок жены академика с таким вопросом:

– Борис Алексеевич беспокоится: не едет ли поезд Москва – Берлин до Западного Берлина и не проедет ли таким образом делегация мимо Восточного Берлина и не окажется ли в Западном, что вызовет скандал и может быть расценено как попытка эмиграции?

На глазах у меня выступили слёзы. Я вдохнул воздух и злым голосом ответил, что состав идёт только до Восточного Берлина.

– А вы точно проверили?

Проведав о тревожном нраве академика, начальство отправило меня вместе с управляющим делами ВОКС в день отъезда на его квартиру (Б. Калужская, 13). Нужды в этом никакой не было: для доставки учёного на вокзал была вызвана автомашина Академии наук, багаж готовились нести какие-то дюжие молодцы. Но своим присутствием мы с управляющим должны были засвидетельствовать неусыпную заботу руководства ВОКСа о благополучном отъезде Бориса Алексеевича.

Академик выглядел плохо, ночь явно не спал. Квартира была в состоянии, напоминавшем полный переезд на новое место: на полу валялись сор, обрывки шпагата, с места были сдвинуты тяжёлые сундуки. Судорожно в последний раз проверялось: всё ли взято? Особенно тщательно – явно не в первый раз – содержание аптечного ящика. Несмотря на тёплую погоду, плечи Введенского поверх пальто покрывал шотландский плед.

Наконец «ЗИС» академика тронулся, за ним наша «Победа». На вокзал прибыли ещё до подачи состава. Когда состав подали, Борис Алексеевич очень просил нас выяснить: тот ли это состав? Хотя таблички свидетельствовали: «Москва – Берлин».

Когда делегация формировалась, мне очень хотелось поехать с ней. Но после общения с Введенским рад был, что не поехал: вряд ли выдержал бы должность секретаря при нём.

Несколько позднее, познакомившись по делам службы с другим академиком, В.П. Никитиным (электротехника), человеком вполне земным и уверенным в себе, я не удержался и поведал ему о некоторых чертах личности Введенского. Помню ответ Никитина:

– Его характер мне известен. Всё дело в изнеженном воспитании. Я прошёл суровую школу жизни. Борис Алексеевич всю жизнь провёл в тепличных условиях. Мы с ним ровесники, оба 1893 года рождения, но сравните нас: не правда ли, он

выглядит намного старше?

В самом деле: бодрый, подвижный Никитин на вид казался чуть ли не сыном Введенского.

Парадокс, которыми столь богата наша жизнь: крепыш Никитин умер через три года, болезненный Введенский – через 17 лет.



М.В. Водопьянов

После XX съезда КПСС, когда оживились культурные связи СССР с заграницей, мне как заведующему отделом Центральной Европы ВОКСа пришлось немало потрудиться, отправляя за рубеж разного рода советских деятелей в качестве лекторов. В списке желаемых кандидатур, присланном немцами ГДР, значился легендарный лётчик Михаил Васильевич Водопьянов, один из первых Героев Советского Союза^[10]. Я связался с ним, он согласился поехать. Пришёл ко мне для обсуждения предстоящей поездки. Тут меня поразило одно: он твёрдо настаивал, чтобы его представляли за границей не как лётчика, а как писателя, словно писание книг было главным делом его жизни.

Я провожал, а потом встречал его во Внукове. Во всём чувствовалась незаурядная, колоритная личность. Ехал он, разумеется, не в лётной форме, а в гражданском, но бывалый военный лётчик ощущался как в его богатырской фигуре, так и в каждом уверенном, неторопливом движении.

Провожал и встречал Водопьянова вместе со мной молодой человек по имени Герман, к которому лётчик проявлял поистине

братские чувства: они были на «ты», обнимались и целовались. Из ГДР Водопьянов привез Герману и его маленькой дочке подарки. Выяснилось, что это литературный секретарь Водопьянова, с помощью которого он написал и подготовил к изданию едва ли не все свои сочинения. Герман довольствовался ролью тени Водопьянова – сам, кажется, ничего не написал и не издал.

Когда Водопьянов вышел из самолёта, он был багрово красен и слегка покачивался. Винный запах убедил меня, что немцы крепко напоили его перед отлётом. На мой вопрос о поездке лётчик ответил, что она была исключительно удачна, немцы проявили к нему невиданное гостеприимство, осыпали его подарками.

Тем же летом ВОКС принимал генерального секретаря Общества германо-советской дружбы Миснера. Узнав, что Миснер, столь тепло принимавший его в ГДР, в Москве, Водопьянов позвонил мне и пригласил его к себе на дачу; с Миснером поехал и я. В этот же день радушный Водопьянов пригласил к себе на дачу группу немецкой молодёжи из ГДР и ФРГ, прибывшую на Всемирный фестиваль молодёжи, – более 20 человек.

Дача Водопьянова представляла собой обширнейшее имение на берегу Бисеровского озера около Купавны. День был жаркий, мы катались на лодках, потом хозяин пригласил нас к столу со скромной закуской и выпивкой. Мы сидели за особым столом: Миснер, Герман (занимавший с семьёй весь верх дачи), директор МАИ Каменцев и я, пили какой-то портвейн и ели фрукты. Водопьянов вёл себя просто и непринуждённо, не подавлял своим величием и не рассыпался в любезностях. Встреча выглядела сугубо неофициально.

Обслуживала застолье Мария Васильевна, жена лётчика – обаятельная старушка с добрым, красивым лицом. Я глядел на неё и думал: сколько же пережила эта тихая женщина, ожидая мужа из дальних и рискованных перелётов! И вот дождалась: он не погиб, как Чкалов, Серов, Леваневский и десятки других его товарищей. Муж уже не летал – спокойная, обеспеченная жизнь с близким человеком, оваянным славой.

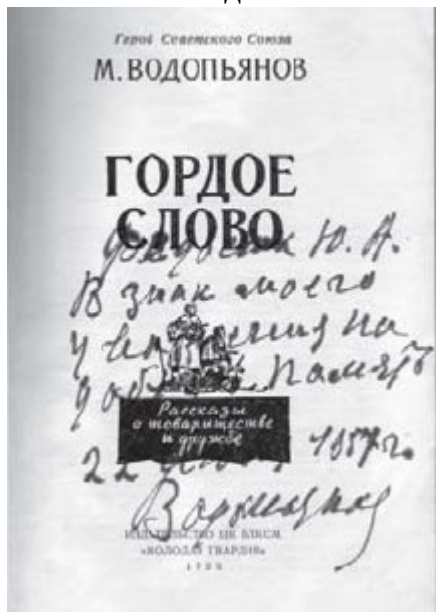
Отойдя куда-то, я столкнулся с Марией Васильевной в полутемном коридоре дачи. Внезапно она остановила меня и прошептала:

– Вы бы уж посмотрели, чтобы Миша много не пил. А то в последнее время так пьёт, так пьёт, что сладу с ним никакого нет...

И горько, не стесняясь совершенно незнакомого человека, зарыдала.

Я не знал, что делать, как успокоить несчастную женщину, что-то пробормотал и вернулся на террасу, к столу. Поневоле стал смотреть за хозяином, но Водопьянов до конца пил в меру и опасно пьяным не становился.

Настроение моё было испорчено. Этот случай лишний раз дал мне понять, что счастье отнюдь не во внешнем благополучии.



Дарственная надпись М.В. Водопьянова на книге

Больше я Водопьянова не видел. Он умер недавно, на девятом десятке жизни. На память от него осталась книжка «Гордое слово» с размашистой надписью автора: «Федосюк Ю.А. В знак моего уважения на добрую память. 22 июля 1957 г. Водопьянов».



А.Я. Вышинский

Это было в 1934–1936 годах. Наши друзья и соседи Ступниковы построили себе дачу в недавно основанном кооперативном поселке Николина Гора. На некоторое время брали к себе в гости меня – «бездачного» подростка, изнывавшего в московской жаре.

Уже тогда Николина Гора была летним местом отдыха московской элиты: справа от дачи Ступниковых стояла дача Качалова, слева – Вышинского^[11], напротив – Семашко и О.Ю. Шмидта. Между соседями завязывались знакомства.

Ехать на Николину Гору без автомобиля и в те времена было весьма затруднительно. Так возникали «автомобильные спайки».

Не раз хозяйку дачи подбрасывал на своей автомашине сосед А.Я. Вышинский – в те времена грозный генеральный прокурор СССР. Жил он в знаменитом доме Нирнзее в Большом Гнездниковском переулке. Однажды отправился с ним на

Николину Гору и я. Вышинский послал свой старенький персональный автомобиль иностранной марки к нам в Казарменный переулок. Подъехав к дому Нирнзее, я и хозяйка дачи минут пять ожидали выхода прокурора. Вот наконец он вышел – в простой толстовке, летней фуражке, коренастый, с рыжеватыми усиками; ничего солидного и устрашающего в нём не было, в тихом переулке он выглядел заурядным московским совслужаем. Коротко представился мне, пожав руку. Вышинский сел рядом с шофёром, вёл себя сухо, подтянуто, говорил немного и на малозначащие темы.

Трясущийся лимузин, пропахший бензином, нёсся где-то по Перхушковскому лесу, когда последовала вынужденная остановка: с мотором что-то случилось. Все мы вышли на дорогу. Не помню, с какой фразой я обратился к Вышинскому, но начал с имени-отчества: «Андрей Эдуардович».

Прокурор с усмешкой взглянул на меня и твёрдо поправил:

– Андрей Януариевич.

Такого отчества я тогда слыхом не слыхивал. Когда он представлялся, мне послышалось «Эдуардович».

– Как, как? – простодушно переспросил я.

– Я-ну-ариевич.

Поехали далее. У Вышинских была скромная одноэтажная дача не только без забора, но даже без штакетника. На участке почти не было деревьев и кустов, расстилался огород и лужайка. Надо полагать, что даже у шофёра нынешнего генерального прокурора дача побогаче. Впрочем, и у других знаменитых дачников Николиной Горы дачи по нынешним меркам были весьма скромными.

Вышинский иногда заходил на «нашу» дачу, велись обычные соседские бесцветные разговоры о погоде и всхожести овощей. Жену прокурора звали Капитолиной, это была очень высокая, тонкая женщина ростом выше мужа. На даче Вышинского, куда я заходил, жила также дочь прокурора со своим мужем.

Однажды, в середине лета, Вышинский приходил прощаться: уезжал в Ростов, где происходил длительный процесс над вредителями, потопившими пароход «Борис Шеболдаев». Вышинский ехал к завершению процесса, чтобы произнести обвинительную речь. Прощаясь с ним, взрослые вокруг меня говорили:

– Ну, теперь-то этим негодьям не поздоровится.

Процесс широко освещался в газетах, почти ежедневно, но вдруг название потопленного судна перестало упоминаться – просто «Дело о потоплении парохода в Азовском море». Какого парохода? Я узнал, что Борис Шеболдаев – первый секретарь

Азово-Черноморского обкома. Исчезновение его имени с газетных полос означало, что потерпело аварию не только судно, но и тот, чьё имя оно носило. Начиналась эпоха жестоких репрессий.



1937 г. Судебный процесс по делу К. Радека. В центре – А.Я. Вышинский

А затем была репрессирована и семья Ступниковых. Никакое знакомство с именитым соседом, выступавшим грозным обвинителем на политических процессах 1936–1938 годов, не помогло. Их дачный участок купил поэт Сергей Михалков. Ныне, как и многие другие дачи Николиной Горы, участок обнесён высоким непроницаемым забором. Там, где некогда резвился я, выросли талантливые дети Михалкова – Никита и Андрей. Имя Вышинского, отменившего «презумпцию невиновности» и осудившего тысячи невинных людей, убрано с вывески Института права Академии наук, его теории раскритикованы. Ступниковы реабилитированы. Так всё изменилось за несколько десятилетий.



А.М. Герасимов

Оба живописца-однофамильца жили и творили в одно и то же время. Александр был председателем изосекции ВОКСа, Сергей – вице-председателем. Видел я их часто вместе, поэтому-то воспоминания о них объединяю в единый очерк, хотя люди это были совершенно разные и по характеру, и по манере творчества.

Александр Михайлович был личностью весьма яркой, колоритной^[12]. Низенький, круглолицый, с брюшком, небольшими руками и ногами, он чем-то напоминал моржа. Волосы и усы иссиня-чёрные, что редкость для русского, в чертах лица чувствовалась примесь татарской крови. Он, кажется, с юных лет привык властвовать. Узнав, что его отец был богатым прасолом из города Козлова, я сразу же легко представил себе и сына в роли состоятельного, расчётливого купца.

Неказистую фигурку компенсировали повелительные, уверенные движения. Неслучайно Б.В. Ногансон на картине «На

старом уральском заводе» изобразил А.М. Герасимов в образе заводчика Демидова. Много лет Александр Михайлович был президентом Академии художеств СССР, то есть полным диктатором в советском изобразительном искусстве. Его обвиняют в закрытии Музея нового западного искусства в Москве, но вряд ли это справедливо: чудесный музей этот закрыли в 1944 году, а Герасимов стал президентом только в 1947 году^[13]. Правда, известна его тесная дружба с Ворошиловым, который был в Политбюро чем-то вроде куратора искусств, и тут могло иметь место вредное влияние...

В чем А.М. Герасимов повинен несомненно – это в разжигании культа Сталина в искусстве. Ещё и культ только зарождался, как с начала 1930-х годов стала появляться огромные полотна А.М. Герасимова с изображением Сталина – сначала средним («Сталин и Ворошилов в Кремле»), а затем и крупным планом. Он, так сказать, начал задавать тон, быстро подхваченный Налбандяном, Ефановым, Влад. Серовым и другими. В натюрмортах и пейзажах А.М. Герасимова заметна необыкновенно сочная, я бы сказал, чувственная манера письма: сирень, мокрую от дождя террасу он, например, написал восхитительно. Официальные же его полотна написаны хрестоматийно, без вдохновения, стало быть, вполне конъюнктурно. Тем не менее они явно нравились Сталину – за них художник получил четыре Сталинских премии!

Гораздо интереснее, чем созерцать отмеченные премиями картины А.М. Герасимова, было наблюдать за ним самим. Лично я не мог оторвать от него глаз. Самой природой он был написан сочно, пластично, законченно – тип удачливого, сытого купчика с какой-нибудь картины Кустодиева. Во время разговора – мне несколько раз пришлось переводить его беседы с иностранными художниками – он любил шевелить толстыми пальцами, как бы в дополнение к сказанному.

Однажды я оказался напротив него во время какого-то торжественного обеда в «Савойе» – тут Александр Михайлович был вполне в своей стихии. Прислуживал коротенький, лысенький Пётр Лукич или Лука Петрович, служивший по официантской части ещё с конца прошлого века и навидавшийся разной «богатой публики». В наши дни единственным достойным посетителем ресторана для него был, конечно же, Александр Михайлович. Тот властным жестом подзывал к себе Петра Лукича; старый лакей угодливо склонялся перед «настоящим гостем» и с наслаждением выслушивал его указания: «Ты в ущицу-то того-то и того-то доложи», «А сельдерейчику нету?», «Котлетки-то де-воляй сегодня не ахти, нет ли чего другого?»

Словом – барин. Указания дополнялись выразительными движениями пальцев. Ел Александр Михайлович смачно, не спеша, с аппетитом, пил маленькими рюмками, молниеносно, закусывая маринованными грибами.

Герасимов хвалил меня за переводы, но иногда в существенном поправлял. Так, вместо «цайхнен» (рисовать) я как-то произнес «мален» (писать красками). Художник остановил меня и сказал гостям: «Нихт мален – цайхнен».



С.В. Герасимов

Совсем иным был Сергей Васильевич Герасимов^[14]. Держался он скромно, внешне напоминал сельского учителя или колхозного бухгалтера, одевался просто, но удобно, зимой всегда носил белые бурки: по-видимому, зябли ноги. Чувствовалось: человек знает себе цену, но на первый план вылезать не любит. Сталина и его окружение Сергей Васильевич упорно не писал, за что не получил ни одной Сталинской премии, а Ленинскую – только посмертно.

Говорят, что сильнее всего Сергей Васильевич не в сюжетных картинах, а в пейзажах, мне же они кажутся несколько художочными, жидкими.

Отношения между обоими Герасимовыми были внешне уважительными, но внутренне натянутыми. Однажды в ныне перестроенном Доме художника на Кузнецком Мосту я видел обоих за столом президиума на каком-то заседании. Сергей докладывал о поездке в Австрию; председательствовавший Александр бросил ему в конце доклада какое-то язвительное замечание в виде реплики. Сергей по-деревенски шмыгнул носом и под общий смех сказал: «Ну, это лучше замнём для ясности». Его называли «хитрый можайский мужичок».

И в самом деле: в отличие от Александра, Сергей происходил из бедной крестьянской семьи и всего в жизни добился собственным трудом. Начав работать над историей дома Арсения Морозова (нынешний Дом дружбы с народами зарубежных стран), я обратился с некоторыми вопросами к Сергею Васильевичу. Он сообщил мне, что с 1900 года, то есть с 15-летнего возраста, жил у меценатки-миллионерши Варвары Морозовой (матери Арсения) на Воздвиженке и на её средства учился. Подробно рассказал и о трёх братьях Морозовых, сыновьях Варвары, и советовал обратиться в отдел русской живописи Третьяковской галереи за адресом ещё здравствовавшей тогда Маргариты Морозовой, вдовы старшего сына.

С.В. Герасимов был весьма уважаемым художником, действительным членом Академии художеств. В годы владычества в художественной жизни страны своего однофамильца пользовался почётом, но неполным. Должное признание получил только после 1957 года. Когда Александра с поста президента Академии убрали, Сергей наконец обрёл звание Народного художника СССР, а после этого его представили на Ленинскую премию. Внешне был холодноват, немногословен, но за этим чувствовался широкой и доброй души человек.



В.А. Каверин

К лету 1946 года Каверин был в зените своей славы: многими изданиями вышел его роман «Два капитана», за который писатель удостоился Сталинской премии^[15]. Поэтому, комплектуя делегацию в Австрию, начальство поручило мне съездить к нему на дачу в Переделкино, уговорить его поехать и дать заполнить анкеты. Для этой цели предоставили автомашину.

Я без труда нашёл дачу знаменитости (увы, сейчас нипочем не нашёл бы – так всё изменилось); это был новый, осваиваемый район посёлка с участком, который удивил меня своим неудобством и неустроенностью. Дача была только что срубленная, без каких-либо удобств, лишённая тишины и тени.

Писатель принял предложение с явным, хотя и сдержанным удовлетворением. Я был уверен, что он давно уже объездил многие страны, но на мой вопрос Каверин неохотно ответил, что

нигде не бывал. От всего его облика веяло простотой и достоинством, в чертах лица и манере говорить чувствовалась скрытая духовная сила.

На недостроенной даче не было ни кабинета, ни даже приличного стола. Более того, приготовившись заполнять анкету, Каверин не отыскал даже ручки. Тут к нему пришли приятели, явно литераторы; какой-то плотный курносый блондин в очках – по дурацкой застенчивости я постеснялся спросить, даже потом, кто это. Быть может, Всеволод Иванов – напоминал. Блондин расхохотался: ну и писатель, даже писать нечем! Вскоре нашлась простая ученическая ручка и чернильница, Каверин быстро заполнил анкету и автобиографию. Подошло время обеда. Каверин с женой, миловидной сестрой недавно умершего Юрия Тынянова, заставили меня пообедать вместе с ними. Обед был самый простой, на первое, кажется, гороховый суп.

После обеда мы вышли в сад и присели на скамейке. Я говорил, какое большое впечатление на меня произвёл его роман «Исполнение желаний». Какому писателю не приятно такое слушать!

Затем спросил: не жалеет ли, что не остался в Ленинграде? В моем представлении Каверин плохо вписывается в Москву, это типично ленинградский писатель. Каверин в грусть признался, что привязан к Ленинграду всей душой, но после войны и блокады город превратился в провинцию. Культурная жизнь в нём сошла на нет, жить в нём стало неуютно.

Пощипывая какое-то садовое растение, я сообщил, что восхищаюсь, в частности, таким качеством писателей, как знание названий всевозможных растений. В ответ Каверин заявил с улыбкой, что писатели, как правило, названий этих не знают, а пользуются пособиями по ботанике.

Прибыв с каверинской анкетой и автобиографией на службу, я пошел с докладом к А.В. Караганову – первому заместителю нашего председателя. Он при мне начал внимательно читать анкету, я сидел напротив. Когда Караганов увидел, что подлинная фамилия писателя Зильбер, он удивлённо вскинул брови. Второй раз он выразил на лице неудовольствие, узнав, что какой-то из братьев Каверина репрессирован или был репрессирован. Окончив чтение, Караганов твёрдо заявил мне: «Не пойдёт», что означало: «Не поедет».

Я был обескуражен: только что так любезно был принят писателем, обнадёжил его, съел столь ценный по голодному послевоенному времени обед, и всё это пошло вхолостую: заграда для него закрыта! Более того, по традициям того времени (да только ли того?) об этом запрещалось даже

оповещать «невъездного»: пусть остается в неведении, сама жизнь покажет, что в поездке ему отказано.

Я же со всеми своими интеллигентными разговорами сказался ничемушным посыльным, отнявшим у писателя время и сожравшим обед. Даже извиниться перед ним не имел права!

На одно лишь надеялся: такой тонкий психолог и знаток жизни, как Каверин, отлично разбирался, что к чему. Меньше всего в отсутствии разрешения на поездку он мог винить мою скромную персону.

«Ездить» он начал только после 1956 года.



И.С. Козловский

Я познакомился с ним осенью 1946 года в Вене^[16]. Зашёл по делу к пианисту Якову Флиеру, члену делегации ВОКСа, в которую входил и я, в его номер в гостинице «Гранд-отель» на Ринге (одна из центральных улиц в Вене). Вдруг в номер вторглась высокая, вальяжная фигура знаменитого тенора, кумира тогдашних меломанов. Начались рукопожатия, объятия, возгласы: «Яшенька!», «Ванечка!» Я и не знал, что оба музыканта были так коротко знакомы.

Козловский приехал в Вену из Дрездена, где выступал с концертами. В Вене он был ангажирован для участия в опере «Богема» в партии Рудольфа.

Певец стал горячо рассказывать о богатых впечатлениях от поездки. То было едва ли не первое его заграничное путешествие.

– Главное, Яша, – твердил Козловский, – не заграничное барахло, за которым так жадно наши гоняются, – тут он

презрительно провел руками по элегантному костюму, в который был облачён, – а впечатления, пейзажи, города. Правда, Яша?

Яша охотно согласился. Тенор поведал, что у него и за границей оказалось немало поклонников.

– И поклонниц, наверное, тоже? – вернул Флиер.

– И поклонниц немало.

– Но всё же такого числа поклонниц, как у тебя, в нашей стране не было и нет ни у кого. Признайся, Ваня, небось, ты немало ими и попользовался?

Козловский покосился на меня и пробормотал что-то невразумительное. Из этого я понял, что вопрос Флиера попал в точку.



Советская делегация в Вене на могиле Бетховена.
Третий слева – И.С. Козловский, правее его жена Г.
Сергеева и Я. Флиер

Певец как бы неофициально примкнул к нашей делегации. Вместе с нами он посетил кладбище советских воинов, могилы Бетховена и Шуберта. Сохранились фотоснимки. Побывали мы и в одном популярном венском кабаре.

Женой Козловского в то время была киноактриса Галина Сергеева, популярная по картинам «Пышка» и «Сильва». Если сам тенор был человеком открытым и контактным, то Сергеева неохотно отвечала даже на самые простые, деловые вопросы, с

лица её не сходила какая-то беспричинная злость, портившая черты этой хорошенькой женщины.

Крепкий, нестарый ещё Козловский смешил меня усиленной заботой о своём здоровье. На венское кладбище мы поехали в холодную дождливую погоду. Певец заботливо поправлял на шее толстый шерстяной шарф, отказываясь отвечать на вопросы, показывая на своё горло. Он страшно боялся повредить голос.

Затем, в СССР, я часто видел его на различных мероприятиях ВОКСа. Человек крайне общительный, ценящий внимание, он бывал всюду и везде. Жизнелюб и бонвиван, галантный женолюб, он был подчёркнуто внимателен к женщинам, непременно целовал им ручки, лихо, но недолго (не простудиться бы!) постаромодному вальсировал. Кажется, не было человека из мира искусств, особенно женщины, с кем он не был бы знаком.

В дни 50-летия Художественного театра к нам в ВОКС приехали мхатовцы, сюда же явился Козловский. Увидев тогда ещё нестарую, грациозную Степанову, он согнулся перед ней в глубочайшем поклоне и стал целовать ей ручки: «Ангелиночка, ангел ты мой!» – «Уймись, уймись, Ваня», – кокетливо отвечала актриса.

На юбилейном капустнике во МХАТе он возглавил торжественный полонез (не помню, с кем в паре), прошедший по центральному проходу к сцене. Одним из запомнившихся номеров вечера был такой: к важно восседавшей в кресле Книппер-Чеховой подбежали Козловский и Лемешев, стали перед ней на одно колено и запели дуэтом: «Я люблю вас, я люблю вас, Ольга!» – далее слова были изменены сообразно юбилею. Старушка жеманно смеялась и театрально отмахивалась от обоих «поклонников».

Когда официальная часть пышных ВОКСовских приёмов подходила к концу и гости хмелели, начиналось нечто вроде самодеятельности. Непременным номером этих стихийно возникавших капустников был дуэт Козловского и... художника Кончаловского – романс «Сомнение» Глинки. Спелись они дивно, хорошо звучал не только тенор Козловского, но и глуховатый бас Кончаловского, человека очень музыкального. Бурные аплодисменты венчали этот номер.

Однажды по окончании дуэта некоторые стали кричать: «Сурикову, Сурикову на сцену!» Сурикова, дочь великого художника и жена Кончаловского, полноватая седая женщина, сидела слева от сцены и улыбалась. Вероятно, в тесном кругу она тоже что-то пела или играла. Козловский театральным жестом приглашал её выйти к роялю, но женщина отклонила все настояния.

В ноябре 1956 года, на праздничном приёме в гостинице «Советская» я столкнулся с Козловским лицом к лицу, он пожал мне руку и сказал: «Давно вас не видел, вы всё ещё здесь? Я-то думал, что вы уже давно по научной линии пошли». Замечание больно укололо меня: я и сам чувствовал, что перерос ВОКСовскую деятельность, и помышлял переменить место и род работы. Но откуда Козловский решил, что мне надо заняться научной деятельностью? Ведь он никогда со мною подолгу и не говорил. Фраза Козловского подлила масла в огонь – вскоре я ушёл в журналистику.

Теперь, до самого последнего времени, когда я ненароком встречаюсь где-либо с некогда знаменитым певцом, лицо его озаряется доброй улыбкой. Знаю почему: не сам я его радую, а тем, что напоминаю уже далёкое прошлое с его радостями, с зенитом успеха.



С.Д. Меркуров

В октябре 1947 года в качестве гостя ВОКСа в Москве находился известный венгерский скульптор Жигмонт Кишфалуди-Штробль. Скульпторы замечательны тем, что, создавая памятники в честь людей и событий, они тем самым ставят – хорошие или дурные – памятники и самим себе, увековечивая в произведении, предназначенном для публичного обозрения, одновременно и своё имя. До сих пор одной из достопримечательностей Будапешта является памятник Освобождения на горе Геллерт, созданный Штроблем.

Штробля в СССР сопровождал не я, а наша сотрудница Валя М. И вот не только она, но и начальство попросили меня поехать со Штроблем в гости к старому его другу скульптору Меркурову^[17].

Я недоумевал: Валя М. была здорова и ничем не занята, почему мне следовало её заменить? Ответом были загадочные

недомолвки и улыбки. Дескать, женщине ехать к Меркурову не очень удобно, она уже была там с другим гостем и больше не поедет. Я был заинтригован.

Меркуров почитался тогда советским скульптором № 1. Важнейшие из монументов Ленина и Сталина заказывались именно ему, он был осыпан почестями и наградами. Этот мастер снимал посмертные маски со Льва Толстого, Ленина и Горького. В Москве до сих пор стоят работы Меркурова: в зале заседаний Верховного Совета – статуя Ленина, на Тверском бульваре – памятник Тимирязеву, около бывшей Мариинской больницы – статуя Достоевского.

Валя М. познакомила меня в гостинице со Штроблем. Венгерский скульптор отличался отнюдь не монументальной внешностью: это был коренастый старичок с длинным мясистым носом и улыбчивыми глазами. В холодный осенний день я поехал с ним в Измайлово, где жил и работал Меркуров. Просторный деревянный дом с флигелями и огромный участок сильно смахивали на помещичье имение. Меркуров, высокий бородатый старик с большим лбом и глянцевыми глазами, и Штробль дружески обнялись, я был удостоен лишь холодного рукопожатия.

Обычно во время такого рода визитов наши деятели изощрялись в том, чтобы убедить гостя в достоинствах советского образа жизни и искусства, или, во всяком случае, говорили на умные профессиональные темы. То, что я увидел и услышал у Меркурова, меня поразило.

Прежде всего антураж большой залы, где Меркуров принимал гостя. Никакого следа подготовки к приёму, даже пол не был подметен. Дека огромного рояля была уставлена какими-то обедами. Нас усадили за стол без скатерти, на котором вскоре появились бутылки с вином, фрукты, торт. Подавала безмолвная жена хозяина – крупная красивая женщина с каким-то измученным лицом. Тут же за стол уселись ученик Меркурова – молодой скульптор Першудчев, недавно снявший погоны, и румяный черноглазый сын ваятеля Гоша. Иногда в зал неслышно входили какие-то бедно одетые старушки, по виду приживалки. Одного лишь взгляда хозяина было достаточно, чтобы они испуганно скрывались. У меня сложилось впечатление, что им, голодным, хотелось что-то взять со стола.

Переводить мне не пришлось: и Меркуров, и его сын сносно говорили по-немецки. Жена же Меркурова и Першудчев в расчёт не принимались.

Меркуров настойчиво угощал гостя, подливал вина, расспрашивал о каких-то общих знакомых, но ни одной значительной или просто серьёзной фразы из его уст я не

услышал. Разговор был обильно уснащён самыми дешевыми пошлостями. Так, хозяин со смехом вспомнил одного видного венгерского художника, фамилия которого звучала по-русски крайне неприлично. Тут же, громко хохоча, он показал жестами гостю, что же означает эта фамилия по-русски.

Явилось шампанское, а вместе с ним – похабные анекдоты. Вдруг Меркуров обратился ко мне с вопросом: «А что же на сей раз не приехала ваша сотрудница, у которой вот такой (он показал рукой) роскошный бюст?»

Поняв теперь, почему отказалась прибыть Валя М., действительно обладавшая крупным бюстом, я не знал, что ответить, покраснел и растерялся. Все расхохотались. Разумеется, во время визита Вали М. разговор преимущественно вращался вокруг её бюста.

Меркуров пригласил гостя осмотреть мастерскую. В то время он работал над заказанным ему памятником Кутузову. Я удивился, увидав не полководца в мундире и при регалиях, а несколько вылепленных из гипса фигурок совершенно голого одноглазого старика. Мастер объяснил, что сначала лепит обнажённую модель, а потом уже «одевает» её. Я стал с интересом разглядывать мастерскую, надеясь увидеть в ней нагого Сталина. Но уже смеркалось, свет не включили, и мы поспешили уйти.

Перед нашим отъездом Меркуров столкнулся со мной в коридоре, остановил меня и отчётливо произнес:

– А я, молодой человек, «Спутник агитатора» не выписываю и не читаю. Принципиально не читаю. Вот так.

Очевидно, он прочитал на моем лице выражение крайнего недовольства приёмом. Избалованный властями, он ничего не боялся, вёл себя как хотел, и сам чёрт ему был не брат. Умер Меркуров вовремя, в 1952 году, не успев пережить разрушения многих своих монументов, изображавших Сталина с требуемой помпой и на пределе его величия.

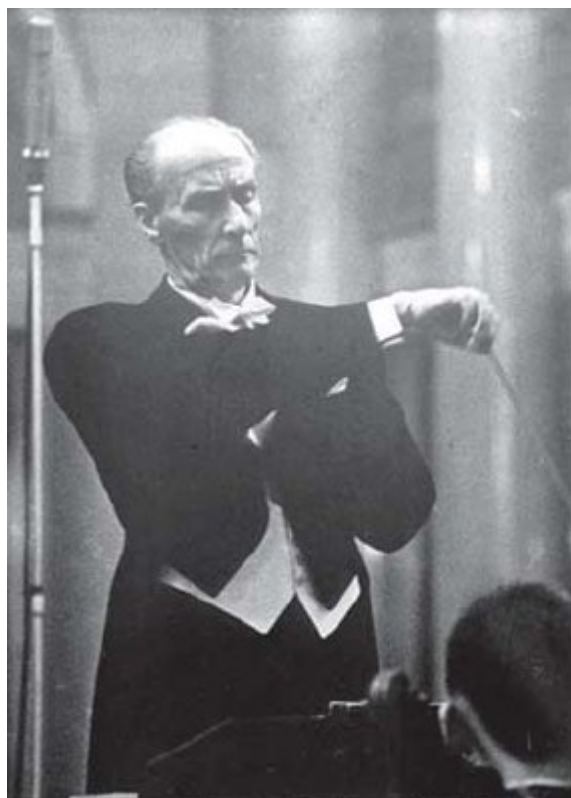
На обратном пути захмелевший Штробль всё спрашивал меня: «Каков Меркуров, а? Какой симпатичный человек, не правда ли?» Я был зол и молчал.

Перед расставанием Штробль попросил меня повести его на станцию метро «Площадь революции» с её натуралистическими статуями работы Манизера. Он воздержался от оценки, но сказал мне: «Скульптуры в одном и том же помещении никогда не должны повторяться – таков закон искусства».

Оказалось, в моем учреждении работал друг Гоши, который передал мне весьма утрированный рассказ самого Гоши и его отца о том, какую глупую роль в тот вечер играл сопровождавший Штробля долговязый брюнет (то есть я) и как они надо мною

посмеивались. Однако не думаю, чтобы Меркуров вёл себя столь безобразно только для того, чтобы позлить меня; вероятно, это была обычная манера поведения скульптора.

Гошу я несколько раз потом встречал в метро, он радостно здоровался со мной, словно со старым другом.



Е.А. Мравинский

В январе 1947 года Москва принимала австрийского дирижёра Йозефа Крипса, с большим успехом давшего ряд концертов в Большом зале консерватории и в Зале им. Чайковского. Опекаль Крипса поручили мне, тем более что я уже был знаком с ним по поездке в Австрию в октябре 1946 года. Из Москвы я повёз Крипса с женой в Ленинград, где мы остановились в гостинице «Астория».

В Ленинграде Крипе дал один концерт с симфоническим оркестром местной филармонии. Деятельное участие в организации концерта принял Е.А. Мравинский – многолетний руководитель оркестра^[18].

Мравинский был тогда ещё относительно молод. Красотой он не отличался, но был обворожителен даже внешне всеми своими удлинёнными чертами лица и фигуры. От него веяло редкостным, покоряющим благородством. Ленинградец с чрезвычайной

ответственностью отнесся к проведению гастрولي своего австрийского коллеги, который – прямо надо сказать – был намного ниже его по мастерству. Однако ни тени превосходства Мравинский, разумеется, не допускал и допустить не мог.

Мравинский быстро наладил репетиции. Крипе был крайне доволен и теплым приёмом, и всей по-ленинградски чёткой организацией репетиционной работы. В Москве всё это происходило не так гладко.

Накануне концерта Мравинский пришел в мой гостиничный номер, предварительно справившись по телефону, когда я могу его принять. Разумеется, я принял его немедленно. Разговор принял неприятный оборот.

– Речь идёт о том, – начал маэстро, затягиваясь тонкой сигаретой, – что мы, ленинградские музыканты, считаем своим долгом вежливости устроить в честь венского гостя прощальный, хотя бы очень скромный ужин. Мне бы хотелось осведомиться, какими средствами вы располагаете для этой цели.

Какими средствами? Мне были отпущены деньги только на питание, проживание и разъезды по городу. Ни о каком банкете в Ленинграде в утверждённой смете не упоминалось. Прощальный приём предусматривался только в Москве, по возвращении из Ленинграда.

Об этом я и сообщил Мравинскому.

– Это довольно странно, – с неудовольствием заметил дирижёр. – Как же у вас при составлении сметы не подумали о столь необходимом жесте гостеприимства? Ведь речь идёт о самом скромном ужине. Кроме Крипса с женой и вас я предусматривал пригласить на прощальный ужин только 20 наиболее важных оркестрантов. В конце концов, можно ограничиться пятнадцатью.

Его аргументы были убедительны. Но где я мог взять деньги?

В составлении сметы я принимал некоторое участие, но меньше всего думал о каком-то банкете в Ленинграде – всего-то Крипе пробыл там три дня – и потому почувствовал себя виновником упущения. Я не переставал любоваться Мравинским, рядом с которым Крипе выглядел неуклюжим мясником; но деньги есть деньги, разрешить расход я мог только с последующей его компенсацией из моего более чем тощего кошелька. Итак, я оставался твёрд: это невозможно.

– Весьма странно, – со скрытым раздражением отреагировал Мравинский. – Как руководитель коллектива я не могу распрощаться с Крипсом только рукопожатием. Необходимо небольшое застолье.

Воцарилась пауза. Я наблюдал за Мравинским. Как красиво,

как артистично он курил! Борцы с курением должны строго-настрого запретить все фотоснимки и кинокадры с изображением курящего Мравинского. Дым плавно тонкой струйкой обтекал его руки, плечи, нервное лицо. Он курил так же вдохновенно и самозабвенно, как дирижировал.

– Ну что ж, тогда придется прибегнуть к складчине. Хотя вы должны понять, что после войны и блокады мы, ленинградские музыканты, живем более чем скромно. Многие, обременённые семьями, прямо говоря, нуждаются. Даже небольшой взнос образует ощутимую брешь в бюджете. Всё же я посоветуюсь.

Любезно поклонившись, он легкой походкой удалился из номера. А через полчаса позвонил и сообщил: да, ужин состоится в одном из помещений «Астории» сразу же после концерта. Просил передать приглашение Крипсу с женой, приглашал и меня.

Концерт в знаменитом белоколонном зале Ленинградской филармонии удался на славу. Явился весь цвет ленинградской публики. В одной из лож сидел грузный плешивый человек; мне сказали, что это Юрий Михайлович Юрьев, знавший в своей юности самого Чайковского^[19]. Юрьев был завзятый меломан и не пропускал ни одного важного концерта. Вскоре Юрьев – целая эпоха в истории русского театра – скончался.

После концерта состоялся ужин. Кроме жены Крипса присутствовали одни мужчины-оркестранты, не снявшие своих концертных фраков. Подозреваю, что не из уважения к гостю, а по той причине, что приличных выходных костюмов у них не было. Ужин был очень скромен: вино и какая-то закуска. Сидевший во главе стола, между Крипсом и его женой, Мравинский произнес краткий, но красивый тост. Что-то сказал и концертмейстер – первая скрипка. Крипе был утомлен, но польщён. Я сел где-то в конце стола, пил и ел, чувствуя себя гадким тунеядцем и скупердяем.

Не имею доказательств, но убеждён, что никакой складчины Мравинский не только не устроил, но даже не предлагал: он сам оплатил весь ужин, не взяв ни копейки у своих оркестрантов, которых всегда трогательно опекал.

Сразу после ужина Крипсы и я отправились на Московский вокзал, на «Красную стрелу». Никто нас не провожал. Перрон был пустынен. Но вот появился Мравинский с женой. Это была милая, интеллигентная женщина, но, боже мой, как она не подходила к Мравинскому! Ему под стать была бы стройная, поэтичная блондинка, супруга же дирижёра выглядела рядом с ним тяжёлой, земной и прозаичной. На её фоне он казался ещё более одухотворённым.

Пока супруги Крипе устраивались в купе, я вышел с Мравинским на платформу покурить. Очень боялся его антипатии, а её-то вовсе и не было. Мравинский просто и любезно, как с равным, говорил о том, как он любит свой родной город, рассказывал, как здесь начинал свою карьеру, в том числе не на концертной, а на обыкновенной эстраде: вместе с Борисом Чирковым они изображали популярных датских кинокомиков Пата и Паташона. Вот откуда такая пластичность – подумал я.

Попрощался с Крипсами. Поезд незаметно тронулся. На платформе вслед прощально махали руками Мравинский и его жена.



С.С. Наровчатов

1 сентября 1937 года я начал учиться в ИФЛИ^[20]. После недолгих вступительных лекций мы, новоявленные студенты, разбрелись по желтеющим аллеям окрестного Сокольнического парка. Всё напоминало Царское село, лицей, Пушкина... Стихийно образовалась группа из пяти человек: Слава Козьмин, сын известного историка русской литературы, Сергей Наровчатов, сын военного, приехавший откуда-то с Дальнего Востока^[21], две хорошенькие девушки-москвички и я. Девушек сразу привлек Наровчатов – голубоглазый блондин, похожий на Есенина; они облепили его с двух сторон. К тому же сразу стало известно, что Наровчатов – талантливый, хотя ещё и не печатавшийся поэт. Кажется, тогда же Наровчатов познакомил обеих девиц со своим творчеством.

Я сразу стал присматриваться к нему. Вёл он себя очень уверенно, по-взрослому (а было нам всего-навсего по 17 лет), его

крепкий, звонкий тенор перекрывал все наши голоса.

Сергей Наровчатов – имя тогда совершенно неизвестное, но мгновенно запомнившееся, как удачная стихотворная строка. Как подходило оно именно поэту: Сергей – как и Есенин, Наровчатов – необычная, незаурядная фамилия звучала мелодично и загадочно... Это не позднейшие мои раздумья, а тогдашние, первые впечатления. Хорошо помню, как, идя домой, я думал о Наровчатове. Да, несомненно, он станет крупным поэтом, красив и талантлив, может быть, прославит ИФЛИ, как лицей прославил Пушкин. Красавец, счастливчик, баловень судьбы, этот возьмёт своё. Одного, конечно, не мог и предположить тогда: что через тридцать лет оба парня, с которыми я тогда познакомился, возглавят крупнейший литературный журнал «Новый мир»: Наровчатов – как главный редактор, Козьмин – как его первый заместитель.

Никудышный провидец, в отношении Наровчатова я оказался прав. Сергей обладал характером рисковым, бесстрашным, всегда лез в самое пекло, но судьба неизменно оказывалась к нему благосклонной.

Когда в 1939 году началась «незнаменитая», по выражению Твардовского, война с Финляндией, группа студентов нашего института записалась добровольцами в лыжный батальон, и среди них – Наровчатов. Все уже тогда понимали, что эта война – генеральная репетиция неминуемой большой войны. Главным мотивом было проявить себя, испытать характер в крайних трудностях. С нашего курса погибли двое – Миша Молочко и Жора Стружко, третий, Виктор Панков, вернулся с обмороженными ногами. Сергей, хотя и побывал в самых тяжёлых боях, остался невредимым, не был ни ранен, ни обморожен. Естественно, сияние в его ореоле увеличилось.

Любимой темой в тогдашнем творчестве Нарочатова были русские первопроходцы, лихие ушкуйники – Семен Дежнёв и подобные ему мужественные люди как собственный идеал. Ещё до финской войны в нашей стенной газете «Комсомолия» появилась ядовитая карикатура на Наровчатова: в ней сочетались черты бесстрашного казака с пикой и нежного московского мальчика. Подпись убивала наповал: «Мамин Сибиряк». После его возвращения с финской войны такая острота уже не звучала.

Умный и начитанный, Сергей учился из рук вон плохо, вернее, изучал только то, что его привлекало: русскую литературу, древнюю отечественную историю. Всё остальное оставалось за пределами его внимания. На лекциях он был углублён в чтение посторонних книг, экзамены сдавал по чужим конспектам. Русскую поэзию, включая стихи третьестепенных

авторов, знал великолепно, многое наизусть. Цитаты так и сыпались из его уст. Однажды он остановил меня и спросил, правда ли, что экзаменов по античной истории не будет «или это сказка пустой, бессмысленной толпы». Малоизвестная цитата из «Моцарта и Сальери» Пушкина прозвучала не назойливо, а вполне уместно и остроумно.

Мы учились в одной латинской группе, где преподавателем был старый интеллигент Владимир Михайлович Боголепов, личность весьма интересная: он приходился родным племянником царскому министру просвещения Н.П. Боголепову, убитому в 1901 году эсером Карповичем. Я знал имя Н.П. Боголепова от своего отца, рассказывавшего мне о сатирической характеристике России рубежа веков, когда наибольшей ненавистью были окружены три реакционера, стоявшие во главе страны: министр внутренних дел Горемыкин, обер-прокурор Святейшего Синода Победоносцев и, наконец, Боголепов: «не победоносно, не боголепно, но горемычно». Наш преподаватель провёл детство в имении драматурга Сухово-Кобылина, воспитывался у него. Как-то я спросил его о Сухово-Кобылине. Владимир Михайлович ответил: драматург был человек с очень тяжёлым характером, к концу жизни ненавидел Россию и всё русское, преклонялся перед Англией... Странная связь имён: воспитанник Сухово-Кобылина (1817–1903), встречавшегося, кстати, с Пушкиным, стал преподавателем Наровчатова. Как короток, оказывается, мостик между эпохами!

Латынь Сергей не признавал, ученьем манкировал, чем выводил из себя сухого педанта Боголепова. Все симпатии наш преподаватель отдавал другу Наровчатова, сидевшему рядом с ним, Славе Козьмину, старательно постигавшему язык Катулла и Горация. К тому же Козьмин и внешне импонировал Боголепову: дворянская косточка, благородные черты лица, потомственный интеллигент – не то что грубоватый сибиряк Наровчатов.

Раннее, студенческое творчество Наровчатова, на мой взгляд, интересней позднего. В своё время я с разрешения Наровчатова записал два его стихотворения, ни одно из них не вошло почему-то в сборники зрелого Наровчатова, списки сохранились у меня.

На одном из институтских поэтических собраний Наровчатов вместе с другими ифлийскими поэтами, Павлом Коганом и Костей Лагценко, читал свои стихи. Собрание вёл и весьма тонко и умно разбирал каждое прочитанное стихотворение рослый, крупноголовый мужчина – Лев Копелев, в то время аспирант. В стихотворении Наровчатова «В музее новой западной живописи» он придрался к строкам: «И смотрит каждый сын сазаном на сливы черные Сезанна»: «Соседство сына и сазана в поэзии

недопустимо, – указывал Копелев, – образ не должен насакивать на образ». Наровчатов спокойно выслушал это справедливое замечание.

Я не был близок к Наровчатову, не вызывал у него никакого интереса, но несколько раз мы встречались вне институтских стен. Однажды летом втроём (третий – Виталий Злыднев) катались на лодке по Чистым прудам; Наровчатов упоённо читал вслух где-то раздобытый им томик полузапрещённого тогда Гумилёва. Потом зашли к Сергею на квартиру – он жил на углу Сретенского бульвара и улицы Мархлевского^[22] его комнатка с незастеленной постелью и разбросанными повсюду томиками стихов представляла собой невообразимый бедлам.

Ещё в студенческие годы Наровчатов, как истинный поэт, любил выпить. Как-то он, студент Лейтес (впоследствии видный психолог, доктор наук) и я зашли в подвальчик в Театральном проезде, другой раз – в пивной бар на Пушечной. Пили только пиво, но помногу. Наровчатов рассуждал о поэзии и читал свои стихи. Бару на Пушечной посвящено его колоритное стихотворение, хорошо передающее студенческую романтику тех лет и мировосприятие молодого поэта. Приведу его полностью.

Ифлийская застольная

Весёлый бар на Пушечной
Дым заволок —
Летят здесь с силой пушечной
Пробки в потолок.
С осточертевшим счёты
Любой покончить рад —
Студенты о зачётах
Здесь не говорят.
Глазами и причёсками
Забредит каждый спич.
Полярное, московское —
Грусти бич.
Поднимем наши кружки
И выпьем за друзей:
Сам Александр Пушкин
Любил напиток сей.
Пускай, как в дни былые,
Покинет чахлый сквер,
Пусть обойдёт пивные
По всей Москве,

Но лишь за нашим столиком,
Смеясь в лице,
Он выпьет за Сокольники,
Как пил за лицей.

В августе 1939 года вместе со своим другом Олегом Юрьевым я совершил пешее путешествие по Крыму – от Феодосии до Симеиза; дальше пограничники почему-то не пустили. Неподалеку от Феодосии мы встретили трёх таких же пеших туристов с рюкзаками – Павла Когана, Сергея Наровчатова и Изю Рабиновича (впоследствии литературоведа И. Крамова). Наровчатов гордо и возбуждённо рассказал нам о вчерашнем посещении дома Волошина в Коктебеле, беседах с его вдовой, радушно принявшей никому не ведомых студентов – страстных поклонников поэзии. Кроме того, сильнейшее впечатление на него тогда произвел Байдарский перевал, которому он посвятил стихотворение, на мой взгляд, весьма удачное, если исключить некоторые шероховатости.

Байдары

Я только помню, что равнина
Ворвалась в скалы, а за ней
Машина выбросила шины
Из пыли на горбы камней.
Я только помню, что внезапно
На нас упало море, вдруг —
На нас упало море. Запах
Волны и водорослей вдруг.
Байдары вскинули пространство
На плечи истины простой,
Что лишь простор бескрайних странствий —
До боли твой и мой простор.
И если бы меня спросили,
Что кроме видел я того,
Что скалы чёрны,
Море сине, —
Я отвечал бы: ничего.
Вот так за годом, за межой,
О той, тебе уже чужой
(Но хорошо, если ничьей),
Припомнить всё до мелочей

Напрасно силишься: изморен
Пространством, памяти грубя,
Встает одна лишь боль да море,
Опрокидывающееся на тебя.

Тяжеловесное для стиха слово «опрокидывающееся» Сергей читал медленно, по слогам, и оно действительно опрокидывалось на слушателя постепенно, раскатами, как гром. Это бесспорная находка.

Безразличное отношение Наровчатова к занятиям привело к тому, что весной 1940 года он не сдал ни одного экзамена и был изгнан из института. Наша директриса Анна Самойловна Карпова (родная сестра известной революционерки Землячки), в которой неизменная сладенькая улыбка сочеталась с большой внутренней злобой, обставила исключение громовым позором. Она повелела начертать имена трёх исключаемых (кроме Наровчатова, двух других моих однокашников: Зиновия Сандлера и Льва Когана) крупными буквами на обратной стороне обойного листа – с соответствующей сентенцией – и вывесить плакат на видном месте. Сандлер и Лев Коган вымолили прощение и остались в институте (в войну оба они погибли). Наровчатов же был горд и упрям, как киплинг-гумилёвский герой; он словно был доволен исключением. На наши расспросы, что же он дальше будет делать, Сергей с презрительной ухмылкой отвечал: «Карпова хочет сделать мне сложную биографию – ну что же, я доставлю ей такое удовольствие». Вскоре он перешёл в Литинститут имени Горького.

22 июня 1941 года началась война. В начале августа нас, студентов, окончивших три и четыре курса, призвали в армию. В назначенное утро мы явились на сборный пункт – в клуб имени Русакова на Стромынке. Сюда пришёл прощаться с нами и Сергей – он к тому времени стал бойцом московского истребительного батальона, щеголял в серой гимнастёрке, хромовых сапогах и на фоне пёстрой пиджачно-рюкзачной толпы новобранцев выглядел бывалым бойцом. Он крепко пожал каждому руку и пожелал успешной службы.

О военных годах Наровчатова распространяться не буду: он сам описал их весьма подробно, а на войне я его не встречал. Скажу только, что фортуна и в эту тяжелейшую войну отнеслась к нему благосклонно: хотя он побывал в разных переделках, не раз на передовой, но остался цел и невредим. Вскоре после войны имя его появилось в печати как автора весьма удачного и политически своевременного стихотворения «Костёр».

Демобилизовавшись в апреле 1946 года, я шёл с женой по улице Кирова^[23]; меня окликнул молодой красивый офицер с погонами капитана – Наровчатов. Военная форма очень шла к нему. Мы обменялись информацией друг о друге и расстались.

Наровчатов меж тем вошёл в плеяду поэтов молодого, фронтового, поколения, много стал печататься, был принят в Союз писателей – словом, долгожданная слава пришла к нему, как я и предвидел и чему не удивился: иначе и быть не могло. Правда, не всё шло гладко: ходили слухи, что он стал крепко попивать. Я убедился в этом, оказавшись с гостевым билетом на одном из заседаний 2-го съезда советских писателей в декабре 1954 года. Около буфета Колонного зала я столкнулся с бывшим своим однокашником; с преувеличенной радостью он бросился ко мне и громко изрёк: «Откуда ты, прекрасное дитя?» (опять цитата!). Сергей был пьян, говорил громко и возбуждённо, так что на нас оглядывались, повлёк меня в буфет, желая со мною выпить. На счастье, раздался звонок, оповещавший о начале заседания, я выскользнул из объятий Наровчатова и ушёл в зал, стараясь больше на глаза ему не попадаться.

Потом дважды – в 1962 и 1963 годах – Наровчатов появлялся на вечерах нашей ифлийской группы, но пил и говорил мало и раньше других покидал компанию. Красота его исчезла; голова выросла в плечи, облысела, весь он неприятно обрюзг и потяжелел. Говорили, будто бы врачи предупредили его: дальнейшее увлечение алкоголем грозит ему скорой смертью. Человек с сильной волей, Сергей «завязал» твёрдо и бесповоротно, больше пьяным его никто уже видел. Тут он пошёл в гору: сделался главой московской писательской организации, потом главным редактором «Нового мира», издал ряд книг – не только поэтических, но и прозаических, документальных. Его книга «Необычное литературоведение» свидетельствует о незаурядной эрудиции и острой самостоятельной мысли. Любопытно, например, смелое признание, что, живи он в средние века, непременно сделался бы монахом ради возможности полностью отдаться словесности.

Диву даешься, как человек, едва ли внимательно прослушавший хотя бы одну институтскую лекцию, столь свободно и широко владеет предметом, проявляет исключительную эрудицию в области литературы всех времен, притом не только русской. Не иначе как результат усиленного самообразования.

Итак, Наровчатов стал известным поэтом и литературным деятелем, был удостоен редкого звания Героя социалистического труда. Счастливая судьба? И только лишь смерть, нелепая смерть

от какой-то неудачной операции на ноге, пришла к нему слишком рано, в 60 с небольшим лет.

Поэзия Наровчатова умна и рафинированна, но, может быть, именно вследствие скрупулезной взвешенности, излишнего рационализма и отсутствия раскованности он никогда не был – и уже не станет – властителем умов и сердец. На старости лет Наровчатов начинал пробовать себя в прозе (исторические рассказы), получалось, но внезапная смерть не дала ему развернуться.



Г.Г. Нейгауз

В июне 1946 года мне поручили сопровождать гостя ВОКСа – финского пианиста Эрика Тавасчерна.

Пианисту было немногим более 30 лет, он был не по-фински горяч и восторжен. Долговязый и разболтанный, Тавасчерна при разговоре нелепо размахивал руками, бурный поток его речи затрудняло заикание. Всё его в СССР интересовало, но прежде всего музыка. Он ходил со мной и без меня по театрам и концертам, увлекался творчеством Шостаковича, многие фортепианные произведения которого играл наизусть. В Большом театре мы слушали «Князя Игоря» Бородина. В антракте Тавасчерна радостно сообщил мне: «А знаете, одну фразу в опере я понял». – «Какую же?» – «Слова Ярославны “Спасибо вам, бояре”». Его непосредственность была трогательна.

Тогда же я расспрашивал его о Сибелиусе, ещё

здоровствовавшем, интересовался, писал ли тот когда-либо оперы. «Только ко одну, – поведал финн, – “Девушка в башне”, но так и не дописал до конца. Когда его спрашивают, скоро ли он оперу допишет, старый маэстро неизменно отвечает: “А зачем? Пускай себе сидит и ждёт в своей башне”».

Тавасчерна приехал в СССР не концертировать, а знакомиться с музыкой: он был также музыкальным критиком. Почему начальство так носилось с этим милым человеком, но весьма посредственным музыкантом, мне до сих пор неясно. Любое его желание исполнялось беспрекословно.

Так, ему разрешили, разумеется за счёт ВОКСа, позаниматься с профессором Нейгаузом^[24]. Мы побывали на его уроках в консерватории, а потом и на квартире этого крупного пианиста. Жил Нейгауз в известном «чкаловском доме» неподалеку от Курского вокзала^[25]. Отправляя меня туда, начальство сочло нужным поставить в известность: «В начале войны Нейгауза выслали из Москвы на Урал за некоторые нелояльные высказывания, возвратился он не так давно».

Нейгауз, пожилой плотный мужчина с гривой седеющих волос и небольшими усиками на энергичном лице, повёл нас в гостиную и усадил в кресла. Он заканчивал урок с двумя консерваторскими девушками. Я записал их имена: Ксения Холодная и Раиса Гершель; звёзд из них не получилось.

Я внимательно наблюдал Нейгауза за уроком с консерваторками, а затем и с Тавасчерной. Говорил он много и умно, но заметно рисовался, усиленно демонстрируя свою эрудицию. Любая мелочь рождала исторические ассоциации: «Лист в этих случаях говорил...», «Шопен это место играл так...» В голове Нейгауза словно спрессовалась целая музыкальная энциклопедия. Бедные девушки трепетали от его подчас язвительных замечаний и сникали перед бездной знаний своего профессора. Когда они ушли, Нейгауз поспешил сообщить Тавасчерне, что является племянником знаменитого польского композитора Кароля Шимановского, и рассказать о своих давних гастролях и знакомствах в Западной Европе.

Преподавателем Нейгауз был, бесспорно, талантливым и умелым, он не прощал Тавасчерне ни одного промаха, и финн был от него в восторге.

Перед нашим уходом произошла следующая сцена: из соседней комнаты внезапно вышла пожилая пара, весьма скованная и смущённая. Нейгауз тут же прокомментировал по-немецки: «А это мои сожители, их подселили в мою квартиру, всё обещают выселить, да никак не выселяют». И по-русски, стало быть, адресуясь только ко мне, а может быть, и к подселенцам:

«Вот в таких советских условиях приходится жить!»

Слова эти по тем временам звучали весьма дерзновенно. Надо оговорить, что, как почти все только что демобилизованные молодые люди, не имея достойного гражданского костюма, я ходил в военном кителе (разумеется, без погон) и в сапогах. Нейгауза это нисколько не остановило. Тут я понял причину его высылки из Москвы во время войны – крайнюю несдержанность в речах. Бедных «подселенцев» я пожалел: нелегко им было жить в одной квартире с обозлённым Нейгаузом!

На следующие уроки Тавасчерна ездил к Нейгаузу без меня: дорогу он уже знал, а общаться с немцем Нейгаузом мог и без переводчика. Можно только догадываться, чего финн наслушался от недовольного властью профессора.

Нейгауз умер в 1964 году, 76 лет. Лучшим другом его был поэт Пастернак. Сын и внук Нейгауза тоже стали первоклассными пианистами. В талантливых книгах Нейгауза вылился весь характер этого незаурядного, но и нелёгкого, крайне самолюбивого и себялюбивого человека.

На «чкаловском доме» много мемориальных досок, посвящённых его знаменитым жильцам. Доски в память Нейгауза до сих пор нет, хотя, сам будучи блестящим пианистом, он воспитал целую плеяду выдающихся учеников.

Что касается его временного ученика Тавасчерны, то крупного пианиста из него не получилось. В «Музыкальной энциклопедии» он характеризуется прежде всего как видный музыкальный теоретик.



Д.Ф. Ойстрах

Когда в январе 1947 года в Москву приехал на гастроли австрийский дирижёр Крипе, руководство филармонии решило: концерт для скрипки с оркестром Чайковского он будет исполнять вместе с Ойстрахом, лучшим советским скрипачом^[26]. Мне поручили доставить Ойстраха на репетицию концерта в гостиницу «Националь», где проживал Крипе.

Я отправился к Ойстраху на его квартиру в «чкаловский дом» около Курского вокзала. Хозяин любезно встретил меня и показал свои апартаменты, показавшиеся мне весьма скромными. Удивила сравнительно небольшая, с невысоким потолком гостиная, в которой стоял рояль, мягкая мебель, а по стенам были развешаны окантованные фотографии. На некоторых из них Ойстрах был снят вместе с Иегуди Менухиным. Портрет Менухина содержал тёплую дарственную надпись Ойстраху. Давид Федорович показывал мне менухинские реликвии с особенной, непонятной мне гордостью. Между тем я слышал от многих компетентных людей, что по мастерству Ойстрах ничуть не ниже американского скрипача, а может быть, даже выше. А разговор вёлся в таком тоне, словно Ойстрах был учеником недосягаемого Менухина. Это резануло.

Когда мы уходили, из соседней комнаты вышли провожать молодая черноглазая женщина («моя жена») и худенький

подросток («мой сын Игорь»).

Только в автомашине я заметил, что Ойстрах не взял с собой на репетицию скрипку. «Ничего, – улыбнулся маэстро, – и без скрипки обойдётся». Тут я подумал и о том, что в гостиничном номере Крипса никак не мог бы поместиться симфонический оркестр, но решил про себя более ничему не удивляться.

Номер Крипса – люкс находился на втором этаже старого здания «Националя», там, где угловой эркер с балконом. Проходя мимо этого места, я обычно вспоминаю необыкновенную репетицию.

Крипе радостно принял Ойстраха, они уселись за небольшой столик с мраморной доской, и началась репетиция. Партитуры не было, оба помнили шедевр Чайковского наизусть. Скрипка отсутствовала, стоявший в номере рояль так и остался закрытым. Я стал свидетелем невиданного действия. Первую музыкальную фразу тоненьким скрипучим голосом пропел Ойстрах. Затем настала очередь оркестра: толстый Крипе не только продирижировал вступление, но и исполнил его голосом и губами. Снова зазвучала скрипка, то есть голос Ойстраха. Тут к соло присоединился оркестр, то есть Крипе со своим подвыванием, означавшим аккомпанемент струнных и духовых. Когда включались ударные, Крипе извергал из своей глотки «бум-бум». Ойстрах, имитируя скрипку, внимательно следил за взмахами руки Крипса (ибо и дирижёрская палочка отсутствовала). Два полных немолодых человека, словно маленькие дети, скверными голосами, хотя и с безукоризненной точностью изображали, как исполняется на публике знаменитый скрипичный концерт. Я едва удерживался от смеха.

Видя, что дело пошло на лад и полное понимание достигнуто, я счёл за благо удалиться, оставив обоих музыкантов продолжать репетицию без моего бесплодного присутствия. Кстати, никакой оркестровой репетиции этого номера в концертном зале не последовало.

Когда я рассказал о поразившей меня репетиции знакомым московским музыкантам, они удивлённо пожали плечами, дивясь моей неопытностью: «Ну и что же, так часто делается, когда произведение хорошо знакомо обоим».

Концерт в Большом зале Консерватории прошёл на славу, публика осыпала Крипса и Ойстраха аплодисментами и цветами. Никто не знал, что для полного взаимопонимания солиста и дирижёра хватило одной, притом весьма своеобразной, репетиции.

Впоследствии я несколько раз встречал Ойстраха в метро. И он, и я ездили на работу со станции метро «Курская-радиальная»

в самый час пик. Первый раз я увидел знаменитого, но никем не опознанного скрипача на подступах к нижнему эскалатору. В водовороте людей едва видна была его меховая шапка; драгоценную скрипку он высоко поднимал над головой, дабы её не помяла толпа. Но и сесть в вагон метро было нелегко, иногда из-за давки приходилось пропускать один, а то и два поезда.

Как-то, сойдясь с музыкантом у входа, я посетовал ему на эту трудность. «А я всегда сажусь в первый же поезд, для этого у меня есть маленький секрет». – «Какой же?» – «Следуйте за мной». И он участливо повел меня сквозь ближнюю к эскалатору арку в хвостовой вагон, где народу оказалось гораздо меньше. По дороге этот милый человек тепло и просто беседовал со мной.

С той поры я начал ездить на работу «по-ойстраховски», не пропуская поезда.

Ныне фасад «чкаловского дома» обогатился гранитной доской в память Ойстраха. А мне почему-то великий скрипач вспоминается не на концертной эстраде во фраке, а буднично: маленький человек в чёрном пальто и с пухлыми щеками стойко пробивается сквозь толщу равнодушных пассажиров к эскалатору, а затем и к вагону метро – не за аплодисментами и лаврами, а на обыденную свою преподавательскую работу.



Е.А. Полевицкая

Апогей славы этой русской актрисы падает на годы Первой мировой войны^[27]. Молодая, талантливая, обольстительно красивая, она снискала лавры как у москвичей, так и у петербуржцев. Ей посвящали хвалебные рецензии и восторженные стихи, открытки с её портретом печатались большим тиражом, от поклонников и поклонниц не было отбою. Полевицкой восхищался Блок, Леонид Андреев специально для неё написал роль Консуэлло в пьесе «Тот, кто получает пощёчины».

Во всех лекциях по истории драматического искусства России упоминается знаменитая «семиминутная пауза Полевицкой»: играя свою коронную роль Лизы в инсценировке «Дворянского гнезда» Тургенева, актриса держала в напряжении зрительный зал целые семь минут, не произнося ни слова! Это сцена, когда Лиза перед уходом в монастырь прощается со своей комнатой. Семь минут молчания для театра – невероятно много, но зал не

скупал, а заливался слезами. Впервые эту историю я узнал весной 1941 года на спектакле «Дворянское гнездо» в летнем здании театра ЦДКА, где Лизу весьма слабо и, разумеется, без единой минуты молчания играла Клавдия Половикова, мать ставшей потом известной Валентины Серовой.

...Но вот революция, Гражданская война. Полевицкая вместе с мужем – режиссёром В.Ф. Шмидтом, австрийцем по национальности и подданству, оказывается где-то на юге, у Деникина, а затем с разгромом белых армий оседает в чужой, далёкой Вене. Поначалу выступает в русских зарубежных труппах, затем и в немецких, для чего тщательно шлифует свой немецкий язык. Снимается во второстепенных ролях в немых фильмах, а постарев, делается чем-то вроде режиссёра, помогает ставить пьесы русских авторов. Болеет и умирает муж, Полевицкая остаётся одинокой, сдаёт комнаты, иногда подрабатывает даже стиркой и мытьём полов.

Начинается Вторая мировая война. Не Полевицкая возвращается в Россию, а Россия в лице Советской Армии приходит в Вену к Полевицкой. Кругом снова русская речь, русские лица. Она вступает в Австро-советское общество, деятельно содействует постановке на венской сцене произведений русских драматургов.

Детей нет, чужбина надоела, Полевицкая жаждет вернуться на родину – её не пускают. За ней числятся грешки: работала «консультантом по русскому быту» в геббельсовских антисоветских фильмах. Об этом мне говорили сотрудники советской военной администрации в Австрии. Теперь же венские театры привлекали актрису в качестве такого же консультанта при постановке русских пьес. Но старый русский быт Полевицкая либо забыла, либо плохо знала. Я видел «Бесприданницу» в Бургтеатре: купцы ходили в каких-то немыслимых лапсердаках, слуги носили самовар краном к животу, черёмуха сильно смахивала на развесистую клюкву. Советского же быта Полевицкая, естественно, и не видела.

Старую актрису приглашали на посольские приемы, там я её впервые и увидел – крупная, респектабельная женщина с породистым лицом, вся в драгоценных или полудрагоценных камнях.

Только в 1956 году ей разрешили репатриироваться. Переезд, в её возрасте, при обилии вещей, оказался нелегким. В марте 1957 года она пришла ко мне в ВОКС «излить душу».

Квартиру ей пока не дали, плакалась она, временно поселилась у племянницы, с которой до того не была знакома. Поначалу, когда заграничная тётушка раздаривала московской

родне зарубежные тряпки, к ней относились любезно. Когда запасы исчерпались, дали понять, что она весьма стесняет семью. А куда деваться – квартиру не снимешь.

Полевицкая привезла из-за границы большой и ценный, по её словам, архив, свой и мужа: фотографии, письма, афиши, разные театральные документы. В тесную квартиру племянницы ящики поместить было невозможно. Кафтанов, заместитель министра культуры, разрешил на время поместить архив в каком-то министерском складе. Там его промочили дожди, многое разворовали.

С работой тоже ничего не получалось. Хотели её направить в Малый театр, но там против неё восстали знаменитые «старухи», не желавшие уступать пришельце роли, – Яблочкина, Турчанинова, Рыжова. Попыталась устроиться в другой театр – та же история: «Ведь в Москве у вас пожилых актрис гораздо больше, чем молодых». Так в театр, даже на разовые выступления, не попала.

Зачем она мне всё это рассказывала, непонятно. Если не мог ей помочь Кафтанов, тем менее мог помочь я. Просто решила поплакаться. Но при этом сохраняла гордый, аристократический тон, характер выявлялся нелёгкий. Дважды поправила моё якобы неправильное произношение каких-то слов: «Вообще русский язык в России сильно испортился».

С тех пор я её не видел. Слышал как-то по радио, великолепно читала «Саламбо» Флобера. Квартиру наконец ей дали, где-то на Кутузовском проспекте. Приветливо её встретили только в ВТО, но от этого общества ветеранов сцены трудоустройства ожидать было нельзя.

Дважды ей удалось сняться в кино – в роли старой барыни в «Муму» Тургенева и в роли графини в «Пиковой даме». Давала уроки в Щукинском училище. Последние годы провела в Московском доме ветеранов сцены, где тихо и незаметно скончалась в возрасте 92 лет.

Останься Полевицкая после 1917 года в России, всё было бы, конечно, иначе. И в театре бы работала, и звание народной получила бы, и награды к юбилеям, и пользовалась бы всеобщим почётом. А тут, однажды выпав из обоймы, новую жизнь наладить на родине уже не смогла: никому она не нужна была, словно призрак, пришедший из другой эпохи.

Я видел её в роли графини в «Пиковой даме». Эта роль удалась ей. Неслучайно – она играла саму себя. Всё лучшее у неё осталось в молодости.



В.С. Розов

Пишу об этом интересном и популярном драматурге лишь потому, что вопреки обыкновению записал по свежей памяти беседу с ним (вернее, его высказывания) в Агентстве печати «Новости» 7 мая 1963 года^[28]. Этот «возмутитель спокойствия» в жизни и в искусстве всегда меня привлекал. Разговор шёл о какой-то написанной им для АПН статьи – то ли «зарезанной», то ли выхолощенной (но не мною). Некрасивый, лысоватый драматург был чрезвычайно взволнован и говорил с необычным темпераментом. Слушать его было увлекательно. Речь его шла не столько о злополучной статье, сколько об общем положении в искусстве и литературе.

Напомню, что в то время в идеологической жизни наметился поворот вправо, закончившийся снятием Хрущёва в октябре 1964 года. Особенно болезненно официальная критика воспринимала проскальзывавшие в литературу и на сцену мотивы «конфликта

поколений», за которым усматривали злонамеренную попытку противопоставить старшее («сталинское») поколение и молодёжь, идейно сформировавшуюся (или формирующуюся) под воздействием развенчания культа Сталина.

РОЗОВ: Я вообще в полном недоумении от происходящего. Договорились до того, что будто бы вообще нет поколений. А ведь каждое новое поколение вносит в жизнь что-то своё – такова диалектика. Искусство постоянно обогащается новым, так и должно быть, а у нас все новинки склонны приписывать буржуазным влияниям. Это страшно! Есть люди в искусстве, которые хотят канонизировать сложившиеся приёмы.

Очень боятся западных влияний. Да, могут быть отрицательные воздействия от общения с врагом, но отсиживаться, прятаться от него – это тоже не подвиг. Очень боюсь, что с повышением материального уровня жизни новое поколение духовно оскудеет, общественная энергия его упадёт. Это большая угроза. А ведь надо быть впереди США не только по молоку и яйцам, но по типу человека.

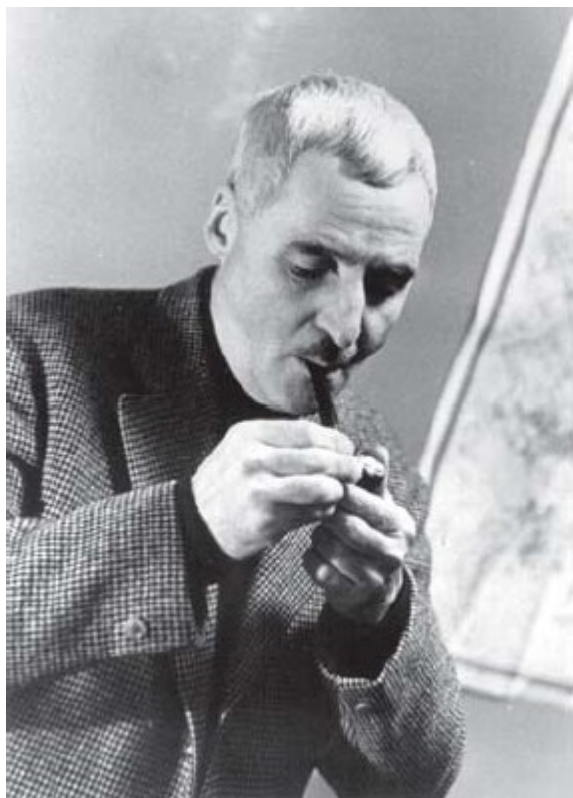
Слушавший всё это с кислой миной один из наших сотрудников, человек весьма консервативных убеждений, вставил тут свою реплику:

– Но ведь в этом старшее поколение и хочет всячески помочь нашей молодёжи.

Розов сардонически расхохотался:

– Да, помочь, фига с два – вот что делают, – тут он сложил пальцы в толстый кукиш. – Не верят нашей молодёжи – в этом всё дело. А у нас золотая, необыкновенная молодёжь, это надо чувствовать. У неё какие-то новые клетки развиваются, каких раньше не было.

Известно, что и тогда, и поныне этот друг и радетель молодёжи с трудом пробивал на сцену свои новые, новаторские пьесы. Далеко не все они увидели свет рампы, во всяком случае в первоначальном виде. Редкий пример многолетней верности одной и той же теме, одной и той же идее: молодёжь лучше стариков.



К.М. Симонов

То ли в 1936, то ли в 1937 году в Зелёном театре Центрального парка культуры и отдыха состоялся большой вечер поэзии. Наши знакомые – отец с юной дочерью, оба страстные поклонники поэзии, побывали на нём. В своих рассказах они особенно выделяли одного из выступавших – молодого, ещё неизвестного поэта Константина Симонова^[29]. Стихи его, по их словам, отличались большой выразительностью и были без «кое-чего» (подразумевалась чуть ли не обязательная в те годы политическая апологетика, воспевание Сталина).

Так я впервые услышал и запомнил имя К. Симонова. А вскоре увидел его вживе: он поступил в аспирантуру нашего института. Казался очень взрослым, да и в самом деле был старше любого из нас. Рослый, привлекательный, самоуверенный; лицом походил на болгарина или азербайджанца. Свои новые стихи (помню начало одного – «Мужские неуютные углы», об

общежитии) он печатал в нашей стенгазете «Комсомолия». Затем они появлялись и в большой печати.

В 1940 году большую группу писателей наградили орденами и медалями. Только что вышедший на поэтический небосклон Симонов обрёл «Знак почёта». Помню его с редким для ифлийца орденом на груди, в красивом сером костюме, стоящим на третьем этаже института, опершимся на лестничные перила и с гордым достоинством беседующим с кем-то.

Миновала Великая Отечественная война; Симонов вошёл в плеяду крупнейших советских поэтов. С тех пор я часто видел его в разных местах и по разным случаям. Он обладал свойством привлекать к себе внимание людей, даже не знавших, кто он. Чувствовалась личность незаурядная.

Заранее оговорюсь: кроме сухого ответа, который он дал мне на сугубо деловой вопрос во время Всесоюзной конференции мира в 1948 году (она проходила в Доме союзов), между нами не было никакого общения. Поэтому речь пойдёт только о чисто внешних впечатлениях и о том, чем был Симонов для нашего поколения.

В Симонове было много необычного, загадочного. Даже его происхождение до сих пор неясно. Он писал о матери, о воспитавшем его отчине-военнослужащем, но ни слова – о родном отце. Верю: отца он никогда не видел, не помнил. Судя по всему, это был кадровый офицер, как и отчим. Если бы отец сложил голову в Первую мировую войну, то столь благоприятный для своей биографии факт Симонов не преминул бы предать огласке. Но глухое молчание поэта об отце заставляет предположить, что тот погиб не на мировой, а на Гражданской войне, и отнюдь не на стороне красных. Только такое обстоятельство могло толкнуть на упорное замалчивание личности столь близкого человека.

Ещё до войны Симонов стал кумиром молодёжи благодаря циклу лирических стихов «Пять страниц». То была очень интимная и по тому времени весьма смелая, проникновенная лирика. Литературных стародумов она повергла в смущение.

В поэзии тех лет взаимоотношения мужчины и женщины стыдливо обходились. Книжка была нарасхват, стихи переписывались, заучивались наизусть. Ходили упорные слухи, что Сталин отозвался о ней так: «Я бы издал эту книжку тиражом в два экземпляра – для него и для неё».

Однако Симонов стал певцом не столько любви, сколько войны. Тут он сказал своё самое сильное и впечатляющее слово. Впрочем, война и любовь в творчестве Симонова всегда тесно переплетались. Достаточно вспомнить самое глубокое, не

побоюсь сказать – гениальное стихотворение Симонова «Жди меня». Если другие популярные стихотворения военной поры запомнились не в последнюю очередь благодаря музыке, то есть став песнями, то «Жди меня», хотя и было положено на музыку, всё же не пелось, а читалось – и это высший критерий качества поэзии. То же случилось с «Гренадой» Светлова, которая так по настоящему и не стала песней.

Симонов был человеком чрезвычайно уверенным в себе, ценившим себя крайне высоко. Мне кажется, что ещё в ранней юности он выработал свой идеал – каким следует быть настоящему мужчине – и всю жизнь ему неуклонно следовал. Идеал соответствовал натуре, поэтому никакого комического несоответствия в жизненном поведении Симонова обнаружить нельзя. Настоящий мужчина – умный, всесторонне образованный человек, носитель лучших традиций русской интеллигенции; смелый, мужественный воин-патриот; самоотверженный друг и преданный любовник. Только пройдя самые тяжёлые испытания, не кланяясь пулям, не изменяя и не трусая, везде сохраняя твердую принципиальность, можно сказать спокойно, что ты правильно прожил жизнь – таково было кредо Симонова.

Молодого, предвоенного Симонова упрекали во влиянии на него Киплинга и Гумилёва. Это бесспорно. Поэт везде подчеркивал свой офицерский аристократизм – даже тогда, когда слова «офицер» и «аристократизм» были не в моде. Он как бы перебрасывал мостик между благородными традициями русского офицерства и требованиями, предъявляемыми к советским офицерам. Мне представляется, что никто так не обрадовался введению в Советской Армии погон и звания «офицер», как Симонов. Тут семейные традиции и собственная военная практика слились воедино. Симонов без офицерских погон в войну – это не Симонов.

Ещё студентами мы обвиняли Симонова в «пижонстве». И в самом деле, иногда он, умница, терял чувство меры. Мой друг Олег смеялся над стихами, где он описывает: «Когда, на сутки отпуск взяв, я был у ног твоих с рассветом, машину за ночь доконав». И всё для того, комментировал Олег, чтобы любимая могла прижаться лицом «к шинели пропылённой» – это ли не пижонство? Тут поэт выдает и своё исключительное, привилегированное положение на фронте: какому офицеру, даже высокого ранга, давались суточные отпуска с фронта в Москву с машиной и шофёром в придачу? Такого не бывало, даже если умирал кто-то близкий в тылу. Откровенным гусарством веет и от строк «Мы сегодня выпили, как дома, коньяку московский мой запас». Это на фронте-то, в то время как «ночью бьют орудья

корпусные – снова мимо: значит, в добрый час». Могут убить каждую секунду, а мы, гусары, пьем коньячок, знай наших! Но без этих чёрточек не было бы Симонова.

Поэта можно было бы обвинить в рисовке и из-за его трубки. Окопные офицеры трубок не курили, разве только штабные. Много места в стихах Симонова, как и в жизни, занимали дружеские мужские застолья – интеллигентные, без свинского пьянства. Словом, если бы Симонов жил в начале XIX века, то отлично вписался бы и в ту эпоху.

А теперь несколько «стоп-кадров», связанных с Симоновым.

21 мая 1948 года. Какое-то совещание в ВОКСе. В числе других участников я отметил в своем дневничке и Симонова: «Был Симонов, раздобревший, как бык». Скорее, не раздобревший, а сильно раздавшийся в плечах, возмужавший.

Начало 1950 года. Кого-то я провожал или встречал на Внуковском аэродроме, Симонов куда-то улетал. Тогда провожающим разрешалось подходить к самым самолетам. Симонова провожала его тогдашняя жена Серова, героиня «Пяти страниц». Актриса разыгрывала целую сцену: обнимала мужа, прижималась, ломая руки, будто он на фронт уезжал. Явно на публику. Симонов всё это принимал как должное, не предпринимая попыток унять супругу, хотя зрителей были сотни.

23 ноября 1955 года. Я привёз группу довольно средних западногерманских писателей на беседу в Союз писателей. Присутствовали Сурков, Сергей Смирнов, Л. Леонов, К. Федин. В разгар беседы в комнату барственной походкой вошел К. Симонов и сел на крайний стул. Сурков представил его, он небрежно поклонился. Слушал беседу, посасывая трубку, но сам не проронил ни слова. Через 15 минут, не прощаясь, удалился. Впоследствии я получил из ФРГ газету, в которой один из немцев – участников беседы – её описал; каждый советский писатель-собеседник был охарактеризован кратко, но метко. О Симонове же – одной фразой: «На беседе побывал и молчаливый Симонов». Действительно, более о Симонове сказать было нечего.

26 марта 1965 года. Вечер памяти М.А. Булгакова в Центральном доме литераторов. В президиуме – вдова писателя Елена Сергеевна. Потом под руки ввели грузную, оплывшую старуху, представили: Анна Ахматова. Шквал аплодисментов. С воспоминаниями выступали Катаев, Каверин, Рубен Симонов, Б. Леонтьев. В заключение слово взял председатель комиссии по литературному наследию Булгакова К. Симонов. Он, разумеется, не знал и не видел покойного, но в темпераментной речи высоко отметил его значение и буквально поклялся, что добьётся издания **полного** собрания сочинений Булгакова. Я слушал

скептически: как-то ты напечатаешь «Роковые яйца» и «Собачье сердце»? Даже сейчас, когда пишутся эти строки, то есть спустя двадцать лет после вечера, никакого собрания сочинений Булгакова (даже неполного) так и не появилось.

16 сентября 1972 года. Премьера пьесы К. Симонова «Завтра в семь» (по роману «Живые и мёртвые»). Впереди в партере острый профиль автора. Сидел вместе со своим фронтовым другом фотокорреспондентом Халипом, больше никого с ними не было. Сидел скромно затерянный в публике, явно желавший остаться в тени. Раскланиваться на сцену не вышел.

Очень ценю трилогию «Живые и мёртвые», пожалуй, это самая сильная проза о Великой Отечественной войне. Но подлинная исповедь Симонова – эпохальный документ «Разные дни войны». Как известно, это его фронтовые дневники с последующими подробными комментариями – жанр весьма необычный! Книга мало читается, недооценена, а в ней зрелый, мудрый Симонов с его личной оценкой виденного и пережитого. Он говорил, что издание «Разных дней войны» далось ему нелегко, пришлось отстаивать много острых мест. Крайне любопытны описания встреч и оценки таких личностей, как Сталин, Жданов, Щербаков, Хрущёв, Жуков и др.

Поразительно, что при всём своём стремлении всегда казаться «на высоте» Симонов иногда был к себе безжалостен. Кому из нас не приходилось попадать в глупые, постыдные ситуации? Ничего не стоит умолчать о них в печатном издании. Но у Симонова хватило мужества (и самоуверенности) не обойти в своей книге и такие моменты: из песни слова не выкинешь! Так, подробно описан тягостный эпизод, когда какой-то глупый политрук летом 1941 года, при отступлении, арестовал Симонова, подозревая его – за внешность и картавость – в том, что он не советский командир, а немецкий шпион. Осыпанный унижениями, поэт был доставлен в высший штаб, где инцидент был исчерпан. А ведь могли сгоряча и застрелить! Или конец войны: известие о капитуляции Германии застало Симонова где-то в дороге, неподалёку от Берлина; он ехал на «виллисе» с друзьями. Какова была реакция? По «симоновским» канонам следовало дать победный салют из пистолетов, закричать «ура» и распить со спутниками флягу трофейного рома. Но всё было более неожиданно и прозаично: от избытка чувств Симонова попросту вырывало. Непоэтично, но как жизненно убедительно – нервная разрядка! В таких признаниях – не слабость, а сила, дерзновенная толстовская прямота и беспощадность к себе.

Завещание поэта – похоронить его не на кладбище, а развеять прах на бывшем поле боя под Могилёвом, рядом с погибшими в

1941 году товарищами, где он спасся только чудом, – может показаться позой, рисовкой. Тем более что «бесчувственному телу равно повсюду истлевать». Но это меня подкупает, ибо тут суть Симонова с его незыблемыми традициями фронтового братства. Другой бы даже не подумал, где его похоронят, но Симонов – человек, постоянно взиравший на себя как бы со стороны, словно строгий судья (а так ли я делаю?), – не мог распорядиться своим прахом иначе. Здесь мёртвый Симонов как бы подает руку живому и оба едины – закономерный аккорд сложной, богатой жизни.



И.В. Сталин

Я видел его, как и миллионы рядовых соотечественников, которых вождь называл «винтиками», явно не замечая в этом определении ничего унижительного, только издалека, в парадной обстановке – во время первомайских и октябрьских празднеств на трибуне Мавзолея^[30]. До войны – в неизменной фуражке и в кителе, прозванном сталинкой, – «в одежде простого солдата», как написал Анри Барбюс в книге «Сталин», вскоре изъятой, так как в ней упоминались некоторые члены Политбюро, объявленные в 1937 году врагами народа. На трибуне Сталин разыгрывал роль «отца народа», постоянно улыбался, приветственно махал рукой проходившим колоннам, о чём-то дружески переговаривался с ближайшими соратниками – словом, не тиран, не деспот, а простой демократичный и мудрый вождь, каким его хотели видеть, а стало быть, и видели народные массы.

Об этом можно было бы и не писать, ничего уникального в

моих наблюдениях нет и быть не может. Зачем же пишу? Странно было бы от человека, взявшегося за перо мемуариста, современника, допустим, Наполеона, видевшего его хоть раз и издали, не требовать, чтобы он хотя бы бегло не рассказал о своих впечатлениях. Вряд ли такое умолчание потомки ему простили бы.

Лишь однажды внешность Сталина меня удивила: это было в один из праздников на Красной площади уже после войны. Я увидел его в необычном ракурсе – сзади. Он куда-то отлучился и вновь поднимался на трибуну по правой лестнице Мавзолея. Совсем не старческой походкой взбирался он по ступеням; бросились в глаза небольшой рост и очень широкий таз, быть может, из-за ширины галифе. Словом, как-то огорчило: ничего величественного.

А на бесчисленных гигантских картинах и в статуях Сталин изображался рослым богатырём, с безукоризненной военной выправкой, с мудрым и бодрым лицом... Мне кажется неслучайным, что Сталин окружал себя людьми своего, то есть среднего, роста. Самым высоким возле него был Каганович, едва ли не на полголовы превышавший его. Вероятно, в грузинском фольклоре цари и герои неизменно отличались высоким ростом и Сталину не хотелось рядом с каким-нибудь гигантом показаться в глазах народа недоростком. Наивное предубеждение, столь чуждое крохотному Наполеону, всегда окружённому рослыми маршалами.

Идеализированный образ Сталина в изобразительном искусстве складывался исподволь и явно не без его контроля. Молодой Сталин был строен и худощав, отчего казался выше, с годами он раздался в плечах, стал несколько коренастым. Известно, что даже временные, подготовленные для праздничного оформления портреты Сталина утверждались специальными комиссиями при райкомах, которые исходили из желаемого эталона; портреты с отклонениями беспощадно отвергались. В 1947 году я оказался в одной комиссии по выборам в местные Советы с известным художником В.П. Ефановым, усердным и признанным портретистом Сталина. Беседуя с ним, я не без удивления узнал, что Сталина он видел не чаще и не ближе, чем я. «А как же вы его пишете?» – поинтересовался я. «А как все, – весьма цинично ответил художник, – по фотографиям. Притом от нас требуют всегда оставлять вождя в каком-то среднем возрасте, дабы он ни в коем случае не выглядел стариком».

Только после войны, и то не сразу, на висках вождя на его портретах появилась лёгкая благородная седина. Но, разумеется, никаких рябин, хотя в детстве Сосо переболел оспой, оставившей

на его лице глубокие следы.

Итак, ни один мастер никогда с натуры Сталина не писал и не лепил. В этом не было нужды, да крайне занятой генсек и не стал бы тратить ценное своё время на позирование. Разрешалось делать наброски во время официальных церемоний, съездов, конференций. Оттого-то, наверное, ни одного художественно совершенного изображения Сталина – из тысяч! – не осталось. Дело не в изъятии портретов после разоблачения культа: даже портрет малосимпатичной личности при глубине постижения характера может обладать художественными достоинствами. Клодтовский памятник Николаю I в Ленинграде никто не убирает, как и памятник Екатерине.

О Сталине, его восприятии нами, его современниками, можно было бы написать много интересного, да боюсь показаться неоригинальным, тем более что мне ещё далеко до ста лет. Что же касается близкого его созерцания, то приведу такой случай: вечером 1 мая 1951 года я был с какой-то иностранной делегацией на праздничном спектакле «Садко» в Большом театре. Сидели в одной из лож правого бенуара. Перед началом третьего действия ко мне подошла красная и взволнованная Люся Л., секретарь нашего протокольного отдела, и шепнула: «Посмотрите, кто в левой ложе у сцены сидит». Погасло электричество в зале, и в свете рампы я увидел, как заколыхалась занавеска, кто-то вошёл и уселся в ложе; полузакрытый занавеской, обрисовался знакомый профиль Сталина. Я чувствовал себя узревшим самого Господа Бога, – на сцену уже не смотрел, а взирав лишь на противоположную ложу. Время от времени Сталин выдавался вперед, тогда передняя половина его профиля: нос, усы, правый глаз – были явственно обозримы.

Как все тираны, Сталин любил искусство, особенно театр, который часто посещал, к несчастью для искусства и театра. То, чего он не понимал или не принимал, объявлялось враждебным народу, следовали гонения и административные меры. То, что лично ему нравилось, объявлялось эталоном. Известна не делающая чести высочайшему ценителю искусств надпись на весьма примитивной сказочке Горького «Девушка и смерть»: «Эта штука сильнее, чем “Фауст” Гёте». Печально то, что оценка эта непрерывно цитировалась и даже включалась в предисловия к гётевскому «Фаусту».

Русскую классику Сталин полностью признавал и высоко ценил. Когда после войны в Большом театре заново поставили «Бориса Годунова» Мусоргского, то опустили сцену под Кромами. В самом деле, после кровопролитной иноземной агрессии, в разгар патриотических чувств вроде бы негоже было показывать,

как обнищавший и обозлённый на правительство русский люд помогает польской шляхте и ватиканским священникам во главе с изменником-самозванцем громить русские войска и идти на Москву, чтобы устанавливать на Руси свои порядки. Будь эта сцена поставлена, казалось бы, можно было бы ожидать великого негодования со стороны Сталина, но случилось обратное: знаток оперного искусства после премьеры, попыхивая трубочкой, ехидно спросил постановщиков: «А куда же делась сцена под Кромами?» Не знаю, что уж ему объяснили, но вскоре в газете «Культура и жизнь» появилась негодующая статья, содержащая без ссылки на источник столь же знаменитые, сколь и лицемерные слова Сталина: «Историю нельзя ни улучшать, ни ухудшать». Здесь хочется вспомнить замечание Герцена о том, что один из первых признаков помешательства есть отсутствие последовательности. Сцену под Кромами, естественно, немедленно включили в спектакль.

Итак, со Сталиным я, разумеется, не встречался и он не знал о существовании такого винтика, как я. Впрочем, быть может, однажды имя моё слегка царапнуло его зрение или слух. Осенью 1946 года, когда меня в качестве секретаря включили в состав делегации, направляемой в Австрию, в нашей спецчасти мне на глаза случайно попался документ с грифом «секретно» – решение секретариата ЦК ВКП(б) о командировании этой делегации. Указывался состав делегации, цель её поездки, а внизу значилась факсимильная подпись с характерным росчерком – И. Сталин. Сей факт любопытен прежде всего предельной централизацией всех сторон жизни страны. При обилии важнейших и неотложных дел в полуразрушенной стране столь мизерное мероприятие, как отправка за границу малозначащей делегации, требовало одобрения самого Сталина. Никто бы без его благословения послать эту делегацию, как и любую другую, не решился. Правда, культурный обмен тогда был настолько слаб, что об отъезде нашей делегации с указанием её состава было опубликовано в центральных газетах.

В связи со Сталиным вспоминается ещё одна деталь. В конце 1946 года я был направлен в Грузию с делегацией датчан. В честь гостей Грузинское общество культурной связи с заграницей устроило в бывшем дворце князей Орбелиани пышный приём, на который созвали всю грузинскую элиту. Было много съедено и выпито, тосты сменяли один другой. Каким-то образом, когда все разбрелись по разным залам отдельными группами, я оказался за одним столиком с любимцем Сталина видным грузинским кинорежиссером Михаилом Эдишеровичем Чиаурели; незадолго до того он снял фильм «Клятва» – совершенно бесстыдную и

фантастическую апологию Сталина, даже тогда вызвавшую скрытое недоумение столичных зрителей. Изрядно подвыпивший Чиаурели (с нами был кто-то третий, тоже грузин, но не помню кто) разлил вино по бокалам и провозгласил тост за меня как «представителя великого русского народа». Далее он стал клясться в любви к русскому народу и произнес запомнившуюся мне фразу: «Я часто общаюсь с товарищем Сталиным, так вот, как-то он сказал мне, что считает себя не только грузином, но и русским. Знаменательно, не правда ли?» По этому поводу мы дружно выпили за драгоценное здоровье товарища Сталина.

Ещё в декабре 1929 года, ребёнком, я запомнил номер «Известий», которые мы выписывали, с небольшим подвалом-отбивкой на первой полосе, скромно озаглавленным «50 лет т. Сталину», небольшим портретом и немногословным приветствием ему от ЦК ВКП(б). С тех пор культ Сталина стремительно набирал силу, и через какие-то десять лет 60-летие Сталина в декабре 1939 года отмечалось как величайший праздник всех народов. К этому времени умолкли анекдоты о Сталине, и дело было не только в страхе: в самом деле, к Сталину стали относиться почти как к Богу.

Слыша ныне жаркие споры, украсили или испортили новые фонари реставрированный старый Арбат, я вспоминаю другое: как полвека назад эта улица – часть маршрута Сталина от Кремля до его загородной резиденции «Волынское» – внушала москвичам страх. Перед появлением кортежа автомашин, в одной из которых (в какой? Это менялось) находился Сталин, транспортное движение на улице приостанавливалось, а на всех углах как из-под земли вырастали мрачные мужчины в казённых плащах и сапогах, бдительно разглядывавшие прохожих; каждый чувствовал себя в эти минуты весьма неуютно. Родилось шутливое название Арбата – «Военно-Грузинская дорога». Но к 1939 году эти и подобные остроты перестали раздаваться даже в узких кругах друзей.

После войны культ Сталина, значительно ослабевший в 1941–1943 годах, возродился с новой силой. Воздействие официальной пропаганды полностью вывело Сталина из-под критики. Если что было не так, то вина приписывалась войне либо, на худой конец, негласно, окружению Сталина, якобы скрывавшему от него положение вещей и искажавшему или тормозившему благотворные решения. О возобновившихся к 1948 году репрессиях старались не думать, жили сегодняшним днём, искренне радовались таким сдвигам, как отмена карточек или снижение розничных цен. Даже люди, прямо пострадавшие от Сталина или не имевшие поводов быть им довольными, искренне

опечалились болезнью и смертью вождя. Причина – мнение, будто бы Сталин собственным авторитетом сдерживал рвение своих наиболее ярких приспешников, а вот теперь-то ничто не помешает им развернуться вовсю. Всенародный траур был глубок и искренен, люди плакали и рвались попрощаться с прахом. По названным причинам мы с приятелем Олегом боялись смерти полубога: не было бы хуже. Кроме того, заранее размышляя о последствиях, спорили о том, в каких масштабах будет увековечена память Сталина; опасались переименования родной Москвы в город Сталин, установления гигантского монумента и т. п.

Однако траурные дни чем-то нас насторожили: внешне всё было «по первому разряду», но ощущался скрытый казенноформальный характер похорон, без искренней скорби в верхах. Не появилось и развернутого постановления об увековечении памяти Сталина (кроме захоронения в Мавзолее); уже через месяц исчезли скорбные стихи и песнопения, а из прессы – цитаты из произведений великого классика. Первые признаки развенчания: в сети политпросвещения внезапно, без объяснения причин прекратилось изучение «гениального» труда «Об экономических проблемах социализма», даже в наших затуманенных мозгах вызвавшего недоумение: в нем Сталин, казалось, уже совершенно оторвавшийся от жизни, писал о скором переходе к прямому, то есть безденежному, продуктообмену, о введении в ближайшее время иных, совершенно утопических форм социализма и т. п. Ещё при жизни Сталина я задал одному авторитетному сотруднику наивный вопрос, что всё это значит, и услышал лаконичный ответ вполголоса: «А этого, Юра, никто не понимает». И понял, что лучше всего молчать.

Но первой ласточкой грядущих перемен было сообщение об отмене злополучного «дела врачей» и осуждении тех из всемогущего МГБ, кто это дело затеял. Вскоре появилась повесть Эренбурга с многозначительным названием «Оттепель».

Однако до самого XX съезда КПСС (1956 год), то есть почти три года после его смерти, Сталина никто ни в чём прямо не обвинял, хотя полностью прекратились и восхваления.

Осенью 1953 года, сопровождая одного высокопоставленного гостя, я пребывал на абхазском курорте «Холодный ручей»; большой дом стоял, словно крепость, на вершине высокой горы. Тогда это ещё была не общедоступная здравница, а госдача на одну семью, в недавнем же прошлом одно из излюбленных мест отдыха Сталина; на склонах горы можно было заметить заброшенные «секреты» и пулемётные точки. Кругом росли

мандариновые кусты, посаженные и ухоженные лично «великим садовником». На мой вопрос охране, в какой же из многочисленных комнат помещался Сталин, последовал недовольный ответ: «А он менял помещения». Учитывая охвативший его к концу жизни бред преследования, этому можно поверить. Персонал на даче оставался в значительной мере сталинских времен. Однажды я зашел в комнату сестры-хозяйки (русской); она показала мне садовый прибор Сталина – красивый ящик с хромированными инструментами и бережно хранимую ею полувоенную фуражку вождя, в которой он работал в саду. Я сказал: «Ведь это большие ценности, их надо бы сдать в музей». Сестра-хозяйка ответила: «Вот и храню, потребуют – сдам». Куда-то она на минуту отлучилась, я дерзнул примерить на себя головной убор Сталина; в чулане, где находились все эти реликвии, висело и зеркало.

О ужас! У меня не столь огромная голова (59,5), но фуражка гения не налезала на неё никак, словно принадлежала ребёнку. Я напяливал её то на макушку, то на темя, то вперёд; фуражка даже держаться не хотела, прямо сваливалась с головы. Что и говорить, не по Сеньке оказалась шапка! Но в душу мне циничным холодком проникло недоумение и разочарование: ничего себе гениальная голова носила эту фуражку!

Разумеется, я и тогда не соотносил напрямую величину головы с умом её обладателя, но всё же, всё же... Вспоминалась огромная, не по росту, голова Ленина.

Так задолго до XX съезда культ Сталина поколебался в моём сознании.



А.А. Сурков

Вот поэт, имя которого начинает забываться, да никогда и не стоял он в первой шеренге советских поэтов^[31]. Долгое время Сурков занимал ответственный пост секретаря Союза писателей, был правой рукой Фадеева, кандидатом в ЦК КПСС, то есть одним из высокопоставленных литературных администраторов, вследствие чего в писательской среде о нём можно было услышать немало злых отзывов. Известны и остроты в его адрес: «На Суркова брови мы насупим, если он захочет нас сломать» (перефразировка строк песни Лебедева-Кумача «Но сурово брови мы насупим, если враг захочет нас сломать»). Или ехидное двусловие «сурковая масса» (из «сырковая масса»).

А у меня Сурков, частый гость ВОКСа, всегда вызвал безотчётную симпатию, он подкупал меня простосердечностью, какой-то неофициальностью, открытостью в эпоху, когда даже

близкие люди становились замкнутыми, неразговорчивыми. Сурков же был неумолимый говорун: о чём бы он ни говорил, слушать его было всегда интересно, увлекательно. Поэт вкусно, по-ярославски окал, речь его отличалась яркой самобытностью и оригинальностью оценок и суждений. Во многом он казался гораздо проницательней и умней, чем требовала его незавидная и рискованная должность.

Ещё в 1943 году, в армии, мы с упоением пели сурковскую «Землянку» – «Бьётся в тесной печурке огонь». На какое-то время репертуарный комитет запретил исполнение этой песни из-за якобы пессимистических стихов «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти – четыре шага». Я слышал после войны, как Сурков задним числом с большим темпераментом возмущался этим запретом. «Каким же надо быть идиотом, – мелодично окал он, – чтобы опровергать, что бойцу на передовой до смерти всего четыре шага, иной раз даже не четыре, а три, а то и два. Вот только реперткомовские чинуши такой близости к смерти, к сожалению, не испытывали».

Сурков нередко заходил к моей начальнице Кисловой, часто вызывавшей и меня. Тут её нудные назидания прекращались, и мы с ней с наслаждением слушали образные рассказы и рассуждения Суркова, из которых я, увы, мало что запомнил. Он был смел на слово и отнюдь не всегда верноподданнически повторял официальные мнения. Когда в 1948 году вышло печально знаменитое постановление «Об опере “Великая дружба”», Сурков, вечный оптимист, так успокаивал Кислову, встревоженную тем, что её могли обвинить в поддержке многих композиторов-«формалистов»: «Да это всё ничего, увидите – обойдётся, ну выпали им по маленькой, но больше ничего не сделают. Зря только на Арамчика (то есть Хачатуряна) накнулись. Арамчик – наш человек, никакой он не формалист, очень я люблю Арамчика. Да вы не огорчайтесь, всё обойдётся» и т. п. И в самом деле – обошлось.

Как-то раз на банкете, устроенном Австрийским посольством, слово взял Сурков, и официальная, натянутая обстановка мигом испарилась. «Я, конечно, понимаю, что нахожусь на дипломатическом приёме, но ведь главная задача дипломатии, как я полагаю, состоит в содействии человеческому сближению представителей разных стран. Поэтому к чёрту всякий протокол! Давайте обойдёмся сегодня без протокола, который я всей душой ненавижу», – и Сурков стал говорить что-то простое, неказённое. Я посмотрел на посла Бишоффа, старого дипломата австро-венгерской школы. Он захохотал вместе со всеми и сквозь слёзы повторял на плохом русском языке: «Да, будем без протокола».

Однажды руководство Союза писателей принимало группу западногерманских писателей. Беседу вел Сурков, сумевший сразу же создать простую, естественную обстановку. Среди немецких литераторов был некий Отто Хан, владевший русским языком и, как я понял, участвовавший в «русской кампании». Хан говорил о переломе в сознании немцев после понесённого ими поражения, а Сурков прервал его прямодушным замечанием: «Да, но так ли вы думали летом 1941 года, когда мы бежали от вас с быстротой, прямо надо сказать, просто-таки необыкновенной?» Эти слова «просто-таки необыкновенной», произнесенные с подчёркнутым «о» и с интонацией удивления, показались мне тогда и смело-крамольными, и вместе с тем очень сочными и правдивыми.

Зато в большинстве стихов Суркова яркие краски отсутствуют. В 1951 году он получил Сталинскую премию за сборник «Миру – мир!» или что-то в этом роде, то были рифмованные передовицы. Вскоре после этого меня командировали зачем-то в Ленинград, я взял с собой почитать этот сборник. В двухместном купе «Стрелы» со мной оказался поэт Степан Щипачёв, я простодушно высказал ему впечатление от сборника: «Как можно так писать?» Помню реакцию осторожного Щипачёва: он не сказал ни слова, а мрачно махнул рукой. Кстати, тогда же я признался Щипачёву, в то время популярнейшему поэту-лирику, что мне очень не нравятся его строки «Ты порой целуешь ту и эту в папиросном голубом дыму», я бы их как-то заменил. Поэт нахмурился: «Что же тут лишнего: обстановка накуренной комнаты подчёркивает нравственное падение героя». Не понял меня, а мне и ныне эти стихи представляются верхом безвкусицы.

Что бы ни произошло, Сурков тут же бежал поведать людям о происшедшем, с собственными комментариями. В изданных в 1960-х годах дневниках драматурга Афиногенова содержится подробная запись того, что рассказал Сурков семье Афиногеновых, когда приехал с передовой в июле 1941 года, – яркий, язвительный рассказ о катастрофическом развале нашего фронта. Можно подивиться смелости тогдашних сурковских рассуждений и степени его доверия к собеседникам. И всё ему сходило с рук.

Наверное, редкое прямодушие и доверие к людям способствовали тому, что К. Симонов, несмотря на разницу в возрасте (16 лет), с дружеской симпатией относился к Суркову. Именно ему посвятил Симонов одно из лучших своих стихотворений «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины».

Вероятно, это стихотворение, как и лучшие стихи самого

Суркова («Землянка», «Конармейская», «Видно, выписал писарь мне дальний билет»), будут способствовать тому, что имя этого весёлого и отважного человека не совсем исчезнет из памяти будущих поколений.



А.Т. Твардовский

Когда я учился в ИФЛИ на первом курсе (1937–1938), Александр Твардовский был на пятом курсе и заканчивал институт^[32].

Однажды в большой 15-й аудитории, построенной амфитеатром, после лекций состоялся вечер наших институтских поэтов. Я одиноко сел в одном из задних, то есть верхних, рядов. Вскоре после начала вечера появился и уселся через два-три места от меня высокий, полнолицый человек явно уже нестуденческого возраста, с толстеньким «академическим» портфелем. Юные поэты выступали один за другим, не вызывая своими стихами особенных восторгов у публики. Аудитория уже весьма устала, но вдруг в заключение объявили: «Александр Твардовский»; все оживились, а мой сосед, вынув из портфеля тоненькую печатную книжечку, степенно вышел на трибуну. Зал затих и насторожился.

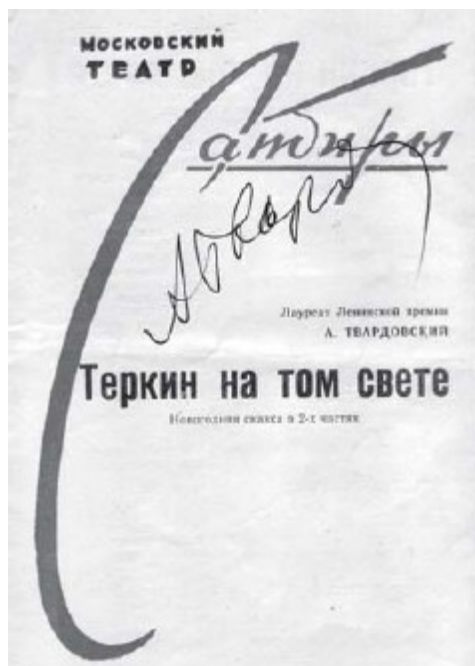
Твардовский читал отрывки из своей «Страны Муравии». Он был единственным из наших поэтов-студентов, стихи которого к тому времени уже были изданы. Его возраст – 27 лет, талант и начавшаяся слава вызвали к выступлению особый интерес.

Читал он спокойно, распевно, как того и требовала поэма, в целом наизусть, но иногда заглядывая в книжечку. Стихи были яркими, запоминающимися и чем-то мне напомнили некрасовское «Кому на Руси жить хорошо». Чтение закончилось громом аплодисментов. Чуть порозовевший поэт сошел с трибуны и снова уселся неподалеку от меня. Но тут объявили, что вечер завершён.

После этого я часто видел его в коридорах института. И ростом, и возрастом – он казался вполне взрослым, сложившимся мужчиной – Твардовский резко выделялся в толпе студентов. Держался весьма гордо и неприступно, редко улыбался, никогда в перерывах не расхаживал просто так, всегда куда-то деловито спешил. Повторю общеизвестное: на госэкзаменах Твардовскому, ещё студенту, мог попасться билет с вопросом «Молодая советская поэзия», где упоминалось и его имя. Чудо, небывалое в истории всей отечественной литературы. Но такой билет он, конечно, не вытянул. Любопытно, что слухи об этом распространялись ещё в то время. Справка о Твардовском в том же году была напечатана в первом, «красном» издании Большой советской энциклопедии с удивившим меня указанием – «сын кулака».

Как-то летом, до войны, слоняясь по книжным лавкам, я увидел, как в арбатский букинистический магазин (там, где впоследствии был магазин «Плакаты») быстрой походкой вошёл Твардовский. Зашёл, недолго пробыл и вышел без покупки. Неприятно бросилось в глаза: он был красен и заметно пьян.

После войны я встречал его редко. Никаких торжественных мероприятий и приёмов, где я мог бы его видеть, поэт не признавал, от поездок за границу уклонялся. Но как только Агентству печати «Новости», где я работал, дали здание на Страстном бульваре, рядом с редакцией «Нового мира», которую возглавил Твардовский, я стал встречать его чаще; постаревший и погрузневший, он куда-то уезжал и приезжал на персональной «Волге».



Автограф А.Т. Твардовского на программе спектакля Московского театра Сатиры «Тёркин на том свете» (31 мая 1966 г.)

В то время (1960-е годы) «Новый мир» был в зените своей славы. Каждый номер ожидался с нетерпением. Прозой ведал 1-й заместитель Твардовского, мой ифлийский однокашник Алексей Кондратович. Несколько раз я встречал Алексея и беседовал с ним, когда он возвращался из ЦК с толстой связкой спорных рукописей. Судьба их решалась сложно. Беседуя на Пушкинской площади с Алексеем о том, что проходит и что не проходит, я невольно думал: никому из прохожих, даже очень интересующихся литературой, и в голову не приходит, что беседующий со мной потный, невзрачный человек держит сейчас на глазах у всех рукописи, которые во многом могут определить будущее нашей литературы. Почему Твардовский не давал Кондратовичу своей машины, не знаю, спрашивать стеснялся. Знаю только, что дистанция между главным редактором «Нового мира» и его сотрудниками, даже ближайшими, была весьма велика. Со всеми, включая Кондратовича, он был на «вы».

Однажды, когда к Кондратовичу попала на просмотр рукопись повести ещё неизвестного Солженицына «Один день Ивана Денисовича», он стал править на первых же страницах необычный язык автора, приводить его в литературную норму, но потом оставил, поняв, что это сделать невозможно, да и не нужно.

Затем рукопись отдали Твардовскому, тот спросил на редколлегии: «Какой это идиот начал править первые страницы?»

– Это я, Александр Трифонович, – отозвался Кондратович.

– Зря, править не надо было.

Это – со слов самого Кондратовича.

На основе своих ежедневных записей Кондратович издал интересные воспоминания о Твардовском. Но публикация, естественно, неполна; кое-что интересное о поэте он рассказывал на наших редких встречах. Надеюсь, что со временем всё, что записал Кондратович о Твардовском, будет опубликовано.



К.А. Федин

В нашем «лицее», как называли ИФЛИ, процветали разного рода факультативные семинары. Для студентов, пробовавших свои силы в прозе, существовал семинар, а по сути литературный кружок, руководить которым пригласили Константина Федина, весьма именитого к тому времени писателя^[33].

Не претендуя на лавры ни поэта, ни прозаика, я не записался в этот семинар, о чем сожалею: послушать Федина было бы очень полезно. Некоторые мои товарищи, посещавшие семинар, говорили, что получили от Федина много ценного.

Самого писателя я часто видел в коридорах института: среднего роста, чуть сутулый, с зачёсанными назад волосами, обнажавшими высокий лоб, он особо выделялся пристально вглядывавшимися в окружающее сильно выпуклыми серыми глазами. Федин казался сугубым интеллигентом

дореволюционной выпечки, и впоследствии я сильно удивился, узнав, что он внук крестьянина и сын мелкого купца. Ничего крестьянского, простонародного в его внешности и манерах не было.

Осенью 1951 года ВОКС решил направить Федина в Вену, на месячник австрийско-советской дружбы. Мне поручили 13 сентября съездить на дачу писателя в Переделкино, с тем чтобы получить его согласие. В назначенный день автомашина доставила меня к красивой двухэтажной даче, выходившей не на улицу, а на широкое поле. Из-за ограды ко мне рвался оглушительно лаявший бульдог, которого с трудом уняла хозяйка дачи Дора Сергеевна, жена Федина.

Вскоре шаркающей походкой в тёплых домашних туфлях ко мне вышел и сам Федин, облачённый в просторную тужурку. Он повёл меня по крутой лестнице в свой кабинет, расположенный изолированно на втором этаже дачи. На письменном столе высились груды папок.

– Вот, готовлю своё собрание сочинений, – сказал хозяин. – Работа оказалась огромной, трудоёмкой. Всё надо перечитать, заново оценить для отбора, многое исправить.

Это вызвало моё молчаливое удивление: в те времена собрания сочинений удостаивались только умершие. После долгого перерыва Федин стал едва ли не первым исключением.

Визит длился недолго. Заполнив нужные документы, писатель вывел меня на участок, густо засаженный цветами.

– Вот слева – дача моего большого друга, человека, которого я высоко уважаю, прекрасного русского поэта Бориса Пастернака. Мы общаемся почти ежедневно.

Эти слова прозвучали как-то особенно подчёркнуто, выразительно.

И октября 1951 года мне пришлось провожать Федина, отлетавшего в Вену, на Внуковском аэродроме. Я заехал за ним в Лаврушинский переулок поздно вечером. Супруги Федины только что возвратились из Театра Вахтангова, где смотрели премьеру «Первых радостей». Усадили меня в столовой пить вместе с ними чай с вареньем. Я спросил о впечатлении от спектакля.

Вопреки ожиданиям – я чаял услышать обычное недовольство автора театром, не понявшим его замысла, – Федин сказал:

– Вы знаете, очень удачный спектакль. Почти всё получилось.

Мы поехали во Внуково по Большой Якиманке. По дороге я показал Федину дом, в котором жил в молодости Чехов и который он описал в «Свадьбе» (сейчас дома давно уже нет). Писатель живо заинтересовался, силился разглядеть в темноте и запомнить дом.

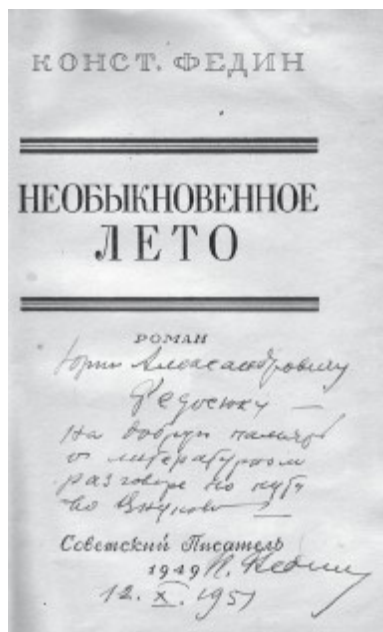
– Вот как? Живешь-живешь в Москве и так многого в ней не знаешь!

Далее я спросил его, будет ли он после «Первых радостей» и «Необыкновенного лета» писать книгу, где продолжит рассказ о героях.

– А зачем? – с удивлением спросил Федин. – Разве непременно нужна трилогия, а дилогии недостаточно? Нет, больше я о них писать не буду.

Завязался разговор о том, отчего люди так любят число три: два им кажется недостаточным, четыре – излишним. Я высказал какое-то своё предположение, связанное с христианской троицей. Федин глубоко задумался и изрёк:

– Видимо, дело в том, что минимальная семья должна состоять из трёх человек: мужчины, женщины и ребёнка. Христианская троица здесь, по-моему, ни при чём. В привязанности к троичности отразился, бесспорно, переход к моногамной семье.



Автограф К.А. Фебина на книге «Необыкновенное лето»

Кроме того, как я отметил в дневничке, разговор в автомашине шёл о скульптуре и об австрийской литературе. Но никаких высказываний Фебина и даже своих на сей счёт я не помню.

Предусмотрительно захватив из дома томик «Необыкновенного лета», во Внукове я попросил Фебина

надписать книгу. Писатель с готовностью вынул красивую авторучку. Надпись гласит: «Юрию Александровичу Федосюку – на добрую память о литературном разговоре на пути во Внуково». Томик, украшенный изящным почерком автора, цел.

Прошли годы. ВОКС распустили, вместо него в 1958 году образовался Союз советских обществ дружбы с зарубежными странами. Настала пора создавать Общество советско-германской дружбы. Вся организационная работа легла на мои плечи. Президентом нового общества был рекомендован Федин, тесно связанный с Германией и немецкой культурой: в годы Первой мировой войны он, русский студент, учившийся в Саксонии, был интернирован немцами и прожил под наблюдением полиции в стране до самого конца войны, успев за это время в совершенстве овладеть немецким языком. Важно было и то, что Федин был персоной, очень пригодной для презентации, – писатель с мировым именем. Я готовился стать его ближайшим помощником – ответственным секретарем Общества.

На 7 января 1958 года в Доме дружбы было назначено учредительное собрание. Я не ведал передышки – подбирал состав правления Общества, связывался с кандидатами, наконец, мне поручили написать доклад, который должен был произнести Федин.

Накануне учредительного вечера ко мне заехал Федин и забрал напечатанный текст «своего» доклада, который и зачитал на следующий день без всяких заметных поправок. В докладе, касавшемся в основном традиций русско-германских и советско-германских культурных связей, я густо излил всю свою эрудицию. По окончании доклада некоторые слушатели просили меня обратить внимание Федина на две или три фактические ошибки. В ошибках был повинен я, и потому Федину ничего о них не сказал.

В книге К. Воронкова «Страницы из дневника» приводятся слова Федина, произнесённые им 18 августа 1966 года в связи с предстоящей его речью на съезде писателей: «Предупреждаю вас: речь будет писательская, мной самим от начала до конца написанная. Я один раз в жизни прочитал написанную не мною речь. Мне было очень трудно, я чувствовал себя очень плохо».

Это явный намёк на текст доклада, прочитанного им в Доме дружбы 7 января 1958 г. Но мне не казалось, что Федин во время чтения «чувствовал себя очень плохо». Докладчика наградили обильными аплодисментами.

До сих пор мне непонятно, почему Федин не только не написал доклад сам, но даже его не правил. Видимо, времени не было.

После доклада членов только что избранного правления Общества председательница Союза обществ дружбы Н.В. Попова пригласила на организационное совещание в соседний зал. Я с удивлением не узрел себя в списке членов правления и на всякий случай спросил Попову, надо ли мне присутствовать.

– Нет, – спокойно ответила она.

Федин искал меня глазами, нашел и хотел совместно со мной отправиться на совещание. Услышав от меня, что я не зван, «был удивлён» – так я отметил в дневничке.

Столь оглушительной оплеухи, притом ничем не вызванной, я, кажется, никогда ещё в жизни не получал. Придя домой, обозлённый, я тут же решил уходить из ССОДа и уже на следующий день начал искать работу. Тем не менее в оставшееся время мне пришлось исполнять обязанности ответственного секретаря нового Общества, хотя ни я, ни кто другой на этот пост избран или назначен не был.

Федин раз или два приезжал ко мне по делам Общества, в остальном мы обменивались телефонными звонками или письмами. Однажды он оставил у меня в кабинете свою заветную трубку; я обнаружил её только тогда, когда взволнованный Федин позвонил мне насчет неё из дома. За трубкой заехала дочь Фебина Нина – моя ровесница, высокая черноволосая женщина, разговаривавшая со мной весьма нелюбезно. Не понравился.

В одной из бесед Федин поделился со мною своей заветной мечтой – поехать на месяц-другой в саксонский городок, где он жил в Первую мировую войну, чтобы пожить там как неофициальное лицо, вспоминая золотые годы молодости. Мечта показалась мне неосуществимой: такие поездки сугубо личного характера никак не одобрялись властями. Однако через год или два я узнал, что Федин добился поездки и нашел в Цвиккау многих немцев, знакомых по годам первой войны, даже свою тогдашнюю домохозяйку.

Я показал Федину «Словарь обиходного немецкого языка» Кюпнера, подаренный мне каким-то немецким гостем ВОКСа, он попросил почитать, аккуратно вернул, но с явной неохотой: ему явно захотелось иметь у себя такую книгу.

Перейдя через месяц после злополучного собрания в Доме дружбы на работу в Совиформбюро, я расхвастался в редакции, что близко знаком с Фединым. А в декабре грянуло «дело Пастернака», издавшего за границей роман «Доктор Живаго» и получившего Нобелевскую премию. В «Новом мире» за подписями Твардовского, Фебина и некоторых других писателей появилось пространное осудительное письмо по поводу романа, адресованное Пастернаку. В связи с бурной реакцией заграничной

общественности, нам, работникам Совинформбюро, предписали всемерно отстаивать советскую позицию в прессе, издаваемой для заграницы, и в самой заграничной прессе. Мне предложили послать Федину письмо с просьбой написать для самого авторитетного журнала ФРГ «Шпигель» отзыв о романе Пастернака. Федин не замедлил с ответом:

18 декабря 1958 г.,

Москва.

В СОВИНФОРМБЮРО

Тов. ФЕДОСЮКУ

Уважаемый товарищ Федосюк!

Для журнала ФРГ «Der Spiegel» я ничего писать не буду.

Если этот журнал интересуется моими суждениями о романе «Доктор Живаго», то моё мнение об этом романе опубликовано в советской печати, – я имею в виду письмо Б.Л. Пастернаку редакции «Нового мира». Можно было бы, полагаю я, посоветовать редакции «Der Spiegel» *полностью перепечатать* письмо «Нового мира» в хорошем, то есть *точном*, переводе на немецкий. Только этим советом я и могу быть полезен названному журналу.

С товарищеским приветом

Конст. Федин.

Если бы я был чуть поумнее и памятьливее, то вспомнил бы давние слова Федина о его «большом друге» – соседе Б.Л. Пастернаке, понял бы, как трудно было ему подписывать антипастернаковское письмо в «Новом мире», и, разумеется, с такой легковесной просьбой, даже под нажимом начальства, к старому писателю не обратился бы.



Я.В. Флиер в Вене (фотография 1946 года)

В сентябре 1946 года ВОКС направил в Австрию делегацию на 1-й конгресс Австро-советского общества в составе: профессор В. (глава делегации), архитектор В.М. Кусаков, профессор-невропатолог В.К. Хорошко, пианист Я.В. Флиер^[34] и в качестве секретаря делегации я. Пробыли три недели с заездом в Венгрию.

Во время поездки я более всего сблизился с Флиером. Этому способствовала наименьшая разница в возрасте (восемь лет), а главное – его живой, общительный и добрый характер.

Худощавый, горбоносый и подвижный Флиер непрерывно развлекал меня рассказами и анекдотами. В 1936 году он уже побывал в Вене, получил диплом на международном конкурсе пианистов и чувствовал себя в австрийской столице как рыба в воде. Впрочем, Флиер принадлежал к разряду людей, которые повсюду чувствуют себя легко, вольготно и раскованно.

Ввиду того что Флиеру предложили дать два дополнительных концерта по окончании срока, установленного для пребывания делегации в стране, я, с разрешения начальства, остался с ним в Австрии после того, как три остальных члена делегации вернулись в Москву.

Помимо пианистического таланта Флиер обладал незаурядным даром пародиста. Руководитель нашей делегации был редкостным тупицей и бурбоном. Некрасивый, невежественный и самоуверенный, он к месту и не к месту старался выказать себя твердокаменным классовым бойцом. Улыбка на его напряжённом лице была явлением редким. Легкомысленные австрийцы быстро раскусили его и всерьёз не принимали. Трудно было подыскать более неподходящую кандидатуру руководителя советской делегации в Австрии. На диспуте в Венском университете он на моих глазах позорно провалился. Учёный-недоучка, В. выдвинулся благодаря модному в то время тезису: русская классическая философия, то есть Белинский, Добролюбов, Чернышевский, всегда опережала западную, на которую к тому же оказывала могучее влияние. На эту тему В. написал большинство своих книг и брошюр. Но выступать в Венском университете с прямыми налётами на то, что неведомый австрийцам Белинский едва ли не выше Гегеля, было более чем неосмотрительно. Неслучайно после 1953 года звезда В. мгновенно закатилась, и все наши учёные, с которыми я заводил речь о моём венском спутнике, отзывались о нём с нескрываемым презрением.

Все свои выступления в Австрии В. начинал одинаково, примерно так: «Господа! Австрийская реакция, вдохновляемая американским империализмом, постоянно ищет коварные лазейки, пытаясь повернуть неумолимый ход истории назад. Миллионы советских людей, вдохновляемые предначертаниями великого товарища Сталина, единодушно выступают против козней австрийской реакции, несущей своему народу неминуемую гибель» и т. д. в том же духе. Известный австрийский литератор Гуго Гупперт, взявшийся переводить речи В. на немецкий язык, впал в полное отчаяние.

Быстро уловив все повадки В., Флиер, оставаясь наедине со мною, разыгрывал уморительные сцены: надув щеки и напустив на себя грозный петушиный вид, то есть перевоплотившись в В., Флиер как бы потряхивая мешковатыми брюками, условно выходил на трибуну и, вперив глаза в потолок, голосом, полным гнева, изрекал: «Господа... Австрийская реакция... коварные лазейки... неминуемая гибель» и т. п. Я чуть не катался по полу от смеха.

От Флиера я узнал многие частности о наших видных деятелях культуры: мало с кем из них он не общался. Оценки увиденного в Австрии, даваемые Флиером, были лаконичны и метки. Как-то я многословно возмущался слабым выступлением дирижёра Карла Этца, Флиер же коротко резюмировал: «Студент 3-го курса нашей консерватории, не из лучших». О певице Стояновой: «Пыжится, да и только». Заграничную действительность он воспринимал трезво, умел отделять хорошее от плохого. В одном из закутков венского кабаре «Шифе латерне» мы обратили внимание на сценку: богато одетый мужчина обнимал даму, а возле играл лирическую музыку специально нанятый скрипач, которого пара вовсе не стеснялась. «Да, – сказал Флиер, – незавидна судьба этого совсем неплохого музыканта». Он уловил в игре скрипача талант.

Флиер всегда высоко и почтительно отзывался о своем преподавателе Игумнове, но не умолчал и о некоторых странностях его отношения к женщинам. Запомнился рассказ: класс Игумнова во главе со своим руководителем как-то поехал на загородную прогулку. Было жарко, искупались. Мужчины обратили внимание на то, как хороша в купальном костюме студентка Фенечка. Игумнов не купался, стоял одетый на берегу. Один из студентов подошел к нему и неосмотрительно сказал: «Посмотрите, Константин Николаевич, какая фигурка у Фенечки». Игумнов посмотрел, лицо его исказилось гримасой брезгливости: «Фу, какая гадость!»

Анекдоты и остроты сыпались из уст Флиера как из рога изобилия, но даже самые непристойные из них он подавал изящно и со вкусом. От него я впервые услышал знаменитое изречение музыковеда Соллертинского: «Я пью много, но зато часто».

Флиер посвящал меня и в свои донжуановские истории, во многом необыкновенные, но явно не вымышленные.

В городе Линце он дал концерт. Публики пришло много, но рояль оказался плохо настроенным. Я кипятился, а Флиер улыбался и успокаивал меня: «Вы – придираст, разве у нас в провинции рояли лучше?» После концерта, смело сыгранного на плохом инструменте, к Флиеру выстроилась длинная очередь за автографами. Было поздно, я видел, как он устал, и всё уговаривал его прекратить надписывание программ, на что услышал возражение: «Это тоже важно, не надо зря обижать людей». Короче, в любом случае он учил меня житейской мудрости.

Флиер по-детски радовался, когда узнал, что его назвали лучшим исполнителем Шопена. До него в Австрии гастролировал

Гилельс, тоже играл Шопена, но австрийцы называли его молотобойцем. Между обоими пианистами чувствовался дух соперничества, но отношения оставались нормальными, товарищескими.

Иногда я наблюдал, как тень грусти спускалась на лицо Флиера. Выяснилось: он ощущал приближающуюся болезнь пальцев, гибельную для пианиста. Вместе с профессором Хорошко он ездил на консультацию к какому-то видному венскому врачу. Позднее, в Москве, я узнал, что болезнь обострилась, играть он уже не мог, но затем усилиями врачей и собственной воли вылечился и возобновил концертную деятельность.

В Будапеште мы провели вечер в кабаре «Казанова». На эстраде играл лёгкую музыку какой-то пианист. Флиер возмутился: «Что это за игра, это ж сапожник, я бы ему показал, как играть джазовые мелодии». Оказалось, что он не только был любителем лёгкой музыки, но и сам мастерски исполнял её, что доказал мне потом в венском гостиничном номере, где стоял рояль. Я уговаривал его выйти на эстраду и «показать класс», ему явно хотелось, но он удержался: «Ещё узнает пресса, развонят газеты и будут лишние разговоры».

Концерты Флиера в Вене прошли успешно, в австрийских газетах появились хвалебные рецензии, в советских – ни слова. Позднее в Москве он при мне кому-то доказывал: «О том, что Симонян в Вене забьёт гол, все наши газеты напишут, а как советский пианист за границей выступает – полный молчок». И со свойственной ему энергией добился всё-таки заметки не то в «Правде», не то в «Известиях».

На обратном пути наш самолёт сделал вынужденную посадку до утра в Киеве. Возник вопрос: где ночевать? «Это не проблема, – заявил Флиер, – у меня в Киеве тесть и горячо любимая тёща. Фамилия тестя – Козлов, хотя он чистокровный еврей, в прошлом – красавец мужчина, кумир киевлянок. А тёща в меня тайно влюблена, вам это должно броситься в глаза».

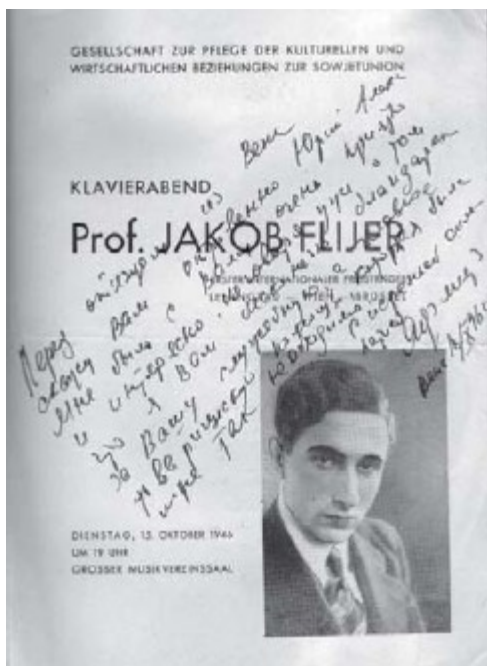
Поехали к Козловым, они нас приняли по-царски, восторженно обхаживали зятя: «Яшенька, Яшенька, какая счастливая случайность». В самолёте между Киевом и Москвой мне на минуту сделалось плохо. Надо было видеть, как добрый Флиер взволновался, ухаживал за мной и, даже когда всё уже давно прошло, беспрестанно спрашивал: «Ну как, всё в порядке?»

Зато я оказался перед Флиером серьёзно виноват: вскоре в Москву приехал на гастроли австрийский дирижёр Крипе, с которым мы оба познакомились в Вене. В филармонии зашла речь, кто исполнит с ним фортепианный концерт Чайковского. До этого мне пришлось беседовать с Флиером и я невзначай спросил

его: «Ну, с Крипсом-то выступите, конечно, вы?» На это Флиер распетушился: «Больно мне это надо, подумаешь, обойдусь, разве если Крипе сильно попросит». По глупости я принял эту мальчишескую пижонскую реплику всерьёз: когда директор филармонии Власов спросил меня о кандидатуре Флиера, я в общих чертах ответил, что Яков Владимирович вроде бы не горит желанием. «Ну и бог с ним, – сказал Власов, – тогда попросим Виктора Мержанова». Так из-за меня с оркестром Крипса выступил не опытный Флиер, а молодой Мержанов. К тому же он сыграл скверно, отставал от оркестра и провалил номер. В ответ на сетования Флиера («Вот я бы сыграл!») я простодушно пояснил пианисту, что он намечался солистом в первую очередь, однако я так понял его, что... «Я вовсе тогда не говорил вам, что отказываюсь», – горячо возразил огорчённый Флиер.

Однажды я побывал у него дома, не помню повода. Он жил на улице Герцена, 47. Привечала меня жена, очень хорошенькая грациозная блондиночка Козлова. Но потом они развелись. Флиер рассказывал, что в квартире до войны находился его большой личный архив, куча фотографий со знаменитостями, книги с автографами, но домработница, оставленная на время эвакуации охранять квартиру, всё, что свидетельствовало бы о том, что здесь жил еврей, сожгла: опасалась прихода немцев.

Последний раз я встретил Флиера в гардеробе московской Консерватории (там сейчас буфет) в 1950 году. Он был всё таким же лёгким, подвижным, французистым, и солидное звание профессора (он вёл класс фортепиано) никак не шло к нему. Я спешил встречать какую-то иностранную делегацию, он дружески приветствовал меня и спросил: «Ну как, всё ещё ВОКСуете?».



Автограф Я.В. Флиера на программе его концерта

Кажется, в Австрии я пришёлся ему по душе, и, не будь мы такими неровнями, могли бы и подружиться. Во всяком случае, на прощание без всякой моей просьбы он подарил мне программу своего концерта с такой надписью:

«Перед отъездом из Вены скажу Вам откровенно, Юрий Александрович, мне было с Вами очень приятно и интересно, не говоря уже о том, что я Вам искренно благодарен за Вашу служебную, а главное товарищескую помощь, которая была мне так необходима. Я. Флиер. 18/X 1946».

Флиер умер в 1977 году, в возрасте 65 лет.



Ю.А. Шапорин

Наверное, написанное покажется односторонним и не совсем справедливым. Однако я близко видел и слышал этого человека всего два раза, и оба раза он был не в очень добром настроении.

Первый раз – 21 апреля 1951 года. ВОКС пригласил в СССР ректора Венской музыкальной академии профессора Шмидта. Для представительства на встречу выделили членов нашей музыкальной секции Ю.А. Шапорина^[35] и В.В. Барсову^[36]. Я заехал за ними в консерваторию.

Выйдя из автомашины, я увидел на левом крыльце учебного корпуса готового к отъезду высокого, грузного Шапорина, о чём-то темпераментно беседовавшего с пианистом Ерохиным. Подойдя, услышал конец разговора. Шапорин гневно ругал своих студентов: «Совершенные бездельники, нечего не хотят ни слушать, ни запоминать. Только пьянствуют и по бабам бегают. Заставишь такого сыграть заданное, а он не может, пальцы

дрожат. Я сразу догадываюсь: вместо того чтобы уроки делать, с бабой время проводил. Я же вижу, меня не обманешь. Вот такие ученички» – и далее в том же духе. Деликатный Ерохин кивал, застенчиво улыбаясь.

Отыскав маленькую, некрасивую Барсову, я усадил обоих в автомобиль, и мы поехали во Внуково. Всю дорогу, сидя на заднем сиденье с Барсовой и адресуясь, разумеется, только к ней, Шапорин не умолкал. Но тема сменилась: речь зашла о затяжной постановке Большим театром шапоринской оперы «Декабристы». Всё, оказывается, делалось не так, как надо, ставилось не по замыслу автора. Шапоринский голос, кажется, приводил в дрожание стёкла автомашины. Конфликтовал композитор не только с дирижёром и режиссёром, но и с исполнителями. Для удобства пения Ханаев-де самовольно изменил какую-то фразу в своей арии. «Ну скажите, допустима ли такая нелепость? Я прямо ему на это указал, а он и в ус не дует. Разве мог офицер того времени так выразиться? Немыслимо. На счастье, дублёр Ханаева, более молодой и спокойный Нэлепп, признал мою правоту. А как поёт старого солдата сын Максима Михайлова? Это же не голос для солиста, а чёрт знает что!» И далее в том же духе всю длинную дорогу. Бедная Барсова молча слушала и успокоительно поддакивала.

Многострадальная опера «Декабристы», как мне было известно, долго писалась, но ещё дольше ставилась. Вначале её главными героями были декабрист Анненков и его невеста француженка Полина Гебль. Но конъюнктура изменилась: надо было показать героизм не француженки, а русской женщины, последовавшей за любимым на каторгу. Однако как быть с Анненковым, не лишать же его подлинной, исторической невесты? Тогда вместо Анненкова героем сделали безвестного декабриста Щепина-Ростовского по той причине, что молодая жена его была чисто русских кровей. Короче, от первоначального либретто, написанного А.Н. Толстым и П. Щеголевым, мало что осталось.

Я видел на сцене эту оперу, когда её наконец поставили, – в июле 1952 года. Громоздкая и пышная постановка не подкреплялась достойной музыкой, неплохи были разве только хоры. Музыка была весьма эпигонской, а кое-где прямо звучали интонации Чайковского, особенно в сцене бала. Одна из реплик старухи Перонской, высказывавшей своё недовольство «нынешней молодёжью, разучившейся веселиться», была прямо заимствована у Графини из «Пиковой дамы» и вызвала сдержанный смех публики. Во многих партиях явно слышались мелодии декадентских романсов молодого Шапорина, никак не

соответствующие ни характерам декабристов, ни духу той эпохи. Словом, Шапорин взялся за явно непосильное для себя дело.

...13 февраля 1959 года. В Доме композиторов отмечалось 150-летие Мендельсона. Спокойный, умный доклад сделал музыковед И.И. Мартынов, который воздал должное композитору и объективно определил его место в истории мировой музыки. Всё шло нормально, но вдруг на эстраду взобрался красный, разгневанный Шапорин: «Мы слушали тут о том, что Мендельсон – миленький, хорошенький композитор, обладавший некоторым талантом. Да как можно говорить такое! Ведь всем нам ясно, что это могучая фигура в музыке, что без Мендельсона нынешнее музыкальное искусство не было бы тем, что оно есть» и т.д., словно речь шла по меньшей мере о Бетховене, на таких тонах. Публика была в недоумении. Я глянул на Мартынова, севшего после доклада неподалеку от меня, – он весь побагровел от обиды. А Шапорин долго не унимался.

Слушая мелодичные салонные романсы Шапорина, многие из которых написаны на слова тончайшего Блока, с которым он был знаком, я никак не могу сочетать эту изысканную, благоуханную музыку с обликом и характером грубоватого, раздражительного, не стесняющегося в выражениях старика, каким я его знал.



М.А. Шолохов

Открытка с факсимильной подписью М.А. Шолохова и его собственноручной надписью: «Федосюк Ю.А. с приветом. М. Шолохов. 5.8.72»

При ВОКСе, куда я поступил работать в апреле 1946 года, существовало Литературно-музыкальное агентство, занимавшееся организацией переиздания произведений советских авторов за границей. Многие зарубежные издательства после войны просили разрешения переиздать романы Шолохова^[37]. Поэтому писателя нередко можно было видеть в здании ВОКСа на Большой Грузинской. Впоследствии функции Литмузгентства перешли к «Международной книге», а затем к Всесоюзному агентству по авторским правам.

Невзрачный, одетый в гимнастёрку и галифе, заправленные в сапоги, Шолохов вряд ли привлёк бы чьё-либо внимание на улице. Да и держался он как-то скромно, незаметно, обыденно деловито.

Для чего Шолохов приходил в ВОКС? Не только чтобы подписать какие-то договоры и деловые письма. Мои знакомые в Литмузагентстве показали мне старое издание «Тихого Дона», подготовленное автором к переизданию за границей: все страницы были испещрены авторской правкой. Оказалось, что после войны Шолохов заново отредактировал свой знаменитый роман в языковом отношении. Первые его издания изобиловали донскими диалектизмами, язык подчас был нарочито огрублен. Новые вкусы заставили Шолохова изменить отношение к написанному: он смягчил, облагородил язык романа – не только для советского читателя, но и для переводчиков его на иностранные языки.

В конце августа 1949 года в Москве состоялась Всесоюзная конференция защитников мира, в которой мне пришлось участвовать, сопровождая одного иностранного гостя. Однажды на утреннем заседании (деле происходило в Колонном зале Дома союзов) объявили: «Сейчас выступит Шолохов». Но писатель не появился, произошла досадная заминка, вместо него выступил следующий по очереди оратор. В кулуарах мне объяснили, что Шолохов не мог выступить, так как оказался мертвецки пьян.

Он выступил только на следующий день, трезвый и нормальный, произнес с трибуны речь в обычном своем стиле – с юмором и подковырками.

10 ноября 1957 года. Правление ВОКСа за подписью Н.В. Поповой издало постановление «О направлении в ГДР т.т. Шолохова М.А. и Игнатьевой О.М.»: «Направить в ГДР в ноябре с. г. сроком на 8 дней для чтения лекций т.т. Шолохова М.А. и Игнатьеву О.М.». Далее указывалось, что ответственность за подготовку и отправку их возлагается на меня.

Отмечу, что имелаась в виду не совместная поездка двух «лекторов», а отдельные командировки. Обоих персонально запрашивало Общество германо-советской дружбы.

Ольга Игнатьева в своё время была чемпионкой СССР по шахматам. С этой дамой отнюдь не шахматной наружности – хрупкая, субтильная блондинка – я справился довольно легко и поездку её в ГДР организовал без особого труда, хотя она и умудрилась выехать с запозданием. Сложнее оказалось с Шолоховым.

Кажется, кто-то (возможно, сама Попова) уже предупредил его о поездке, но дело с места не двигалось. Назначенный срок –

ноябрь – оказался явной утопией, передо мной стала задача отправить его хотя бы в январе.

16 декабря я позвонил Шолохову, который оказался в Москве. Зная, что имею дело с классиком, положив по окончании разговора трубку, я тут же на всякий случай записал весь ход беседы. Воспроизвожу:

– Хочу выяснить вопрос о вашей поездке в ГДР – в январе.

– Почему не в декабре?

– У немцев рождественские каникулы.

– А-а, понятно... Буду решать вопрос в ЦК, я из ГДР собираюсь прямо в Англию. Вот после пленума, на этих днях, всё выясню. Какая моя роль будет в ГДР?

– Выступления о литературе.

– Этого мне не хотелось бы. Я предпочёл бы как турист.

– Всё равно этого не избежать, там уже знают, что вы должны приехать, готовятся разорвать на части. Беседы провести придётся.

– Да, конечно, этого не избежишь. (Далее речь зашла о паспорте.) Не беспокойтесь, паспорт, билет – я вас обременять не буду, всё сделаю сам... Да, там какие-то журналисты немецкие меня разыскивали, какой-то подарок хотели передать.

– Это Бекир (фотожурналист из ГДР), он вас не застал в Вёшенской, хотел передать вам охотничье ружьё.

– Зачем же они расходятся? Зря.

– Я разыщу его, выясню, вам позвоню.

– Я сам вам позвоню в пятницу, товарищ Федосюк. Какой ваш телефон?

Но ни в пятницу, ни в другой день звонка не последовало. 4 января я позвонил ему сам на Староконюшенный^[38] по «тайному» телефону, номер которого он мне доверительно сообщил.

– А, пропащий Федосюк! Спасибо за ружьё, мне его передали. Нет, поехать не могу, работаю над книгой – «Поднятая целина», вторая часть.

– Так и сообщить Обществу?

– В Общество? Боже мой, ну ладно, так им и сообщите. Ну, крепко обнимаю.

Так поездка и не состоялась. 16 января я докладывал на заседании правления ВОКС о командировании лекторов в ГДР, почему Игнатьева выехала с запозданием. обстоятельно сообщил об отказе Шолохова. Претензий ко мне не предъявляли, вопрос сняли с контроля.

На этом моё общение с классиком и кончилось.



Д.Д. Шостакович

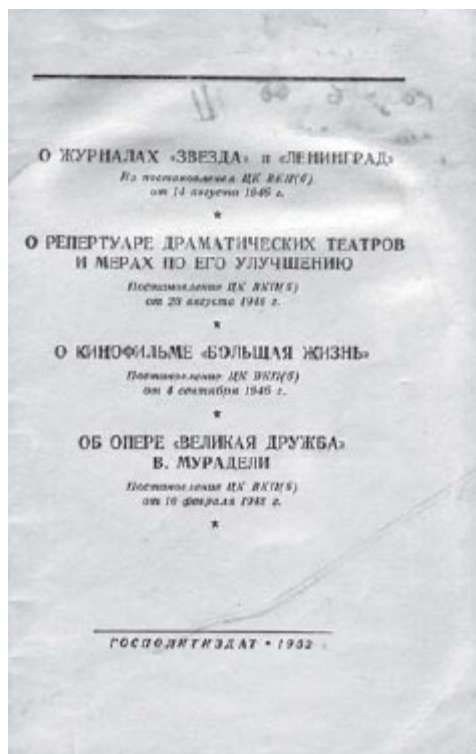
Фотография с дарственной надписью: «Дорогому Юрию Александровичу Федосюку с лучшими пожеланиями от Д. Шостаковича. 15 VI 1953. Вена»

Удивительно, что природа одарила столь выдающегося человека ничем не примечательной внешностью^[39]. Всё самое обычное, непамятное: рост, сложение, черты лица. О таких в документах пишут: «Особых примет нет». Я близко видел многих известных советских композиторов своего времени: А. Хачатуряна, Д. Кабалевского, Р. Глиэра, Ю. Шапорина, В. Шебалина – все они отличались внешностью запоминающейся. Шостакович, самый знаменитый из всех, внешне был самым неприметным, «неиндивидуальным». Карикатуристы могли «ухватиться» только за фонтанчик волос на макушке и чуть заострённый нос, что иногда придавало ему сходство с нахохлившимся воробьём. Но только иногда, эпизодически;

вообще же эта аналогия случайна. Интеллигент – несомненно, «очкарик» – и более ничего о внешности его сказать было нельзя.

Впервые я увидел его на эстраде Колонного зала Дома союзов на Первом съезде Союза композиторов в 1948 году. Тихон Хренников в обширном докладе подверг уничтожающей критике «композиторов-формалистов, оторвавшихся от народа», и в первую очередь Шостаковича, досталось ему и от других ораторов. Выступавшие либо каялись, если были причислены к формалистам в печально известном постановлении Центрального комитета коммунистической партии об опере Мурадели «Великая дружба», либо сами обрушивались на этих формалистов. Все с нетерпением ожидали: что-то скажет Шостакович, формалист номер один?

И вот вышел невзрачный человек в очках и быстрым интеллигентским тенорком без бумажки и явно неподготовленно произнёс довольно спокойную речь: о том, о сём, что музыка, дескать, должна быть близка народу, что сам он сейчас работает над тем-то и т. п. Удивило отсутствие в выступлении ноток покаяния. Он как будто и не чувствовал себя обвиняемым, говорил о том, что можно было бы сказать в любое другое время. Ему недоумённо похлопали и отпустили с миром: дескать, большой ребёнок, не осознал по-настоящему. Только сидевший через ряд от меня композитор В. Захаров, человек резкий и грубый, отпускал во время речи Шостаковича язвительные реплики в его адрес, но не в полный голос.



Брошюра с постановлением ЦК ВКП(б) «Об опере “Великая дружба” В. Мурадели»

Любопытно, что сокрушительная критика «формалистов» смолкла сравнительно быстро. Говорили, что кто-то сумел убедить её инспиратора Сталина в крайне неблагоприятном резонансе мировой общественности и, как ни странно, тот внял: персональная опала с раскритикованных была снята, дабы они делами доказали, что исправляются. Уже осенью 1948 года Шостакович был включён в делегацию деятелей советской культуры, посланную в США. По возвращении они выступали со своими впечатлениями в ВОКСе. Тут я увидел и услышал Шостаковича вторично, с очень близкого расстояния. Белый зал ВОКСа был заполнен знаменитостями, а я стоял в дверях, прямо напротив выступавшего. Здесь я понял, что Шостакович не из тех людей, которых характеризует статичный, фотографический образ, он раскрывается только «кинематографически», то есть в движении, мимике, речи, – и вот тут-то индивидуальности хоть отбавляй! Он говорил необычно, без тени официальности, слишком быстро и вместе с тем свободно, но крайне нервно. В руке он держал папиросу, но, говоря, забывал затягиваться, она оставалась за спиной, гасла; вспоминая о ней, он снова неловко

её зажигал, она снова гасла, постепенно рассыпаясь в потной руке, тогда он закуривал новую. Он весь был в речи, стараясь как-то отрегулировать вырывающийся стремительный поток впечатлений-слов, и эта беспокойная манера выступления подкупала своей искренностью, полнейшим отсутствием заученности и театральности.

Вскоре мне довелось побеседовать с Шостаковичем лично. Меня попросили взять у него интервью для итальянского журнала «Realta Sovetica». Я выразил сомнение в том, что такое светило легко согласится принять интервьюера от неизвестного журнальчика. Не знал я тогда, что Шостакович не умел отказывать. По телефону он сказал мне, что приболел ангиной, но готов принять меня лёжа в постели.

Жил он тогда в огромном доме на Можайском шоссе (ныне Кутузовский проспект), где получил квартиру, как он сам сказал, в 1946 году. Собственно, это была не одна, а две смежные квартиры, объединённые в одну: промежуточная стена была прорублена, а правая входная дверь на лестничной площадке заколочена. Мне открыла симпатичная рыженькая женщина – жена композитора Нина Васильевна и провела через анфиладу комнат в самую дальнюю – спальню. На широкой постели из-под ватного одеяла виднелись очки и нос композитора, он изучал какую-то нотную тетрадь. Над белой деревянной кроватью висела писанная маслом картина, изображавшая двух пышных белорудых дам. Больше на стенах ничего не было.

Интервью опубликовали, но журнальчик «Realta Sovetica» сейчас не найти. Нет его и у меня, поэтому приведу самое интересное из сохранившейся записи.

Шостакович сказал, что в последнее время он много и напряжённо работал. Только что закончил сочинение музыки к кинофильму «Падение Берлина», недавно на III пленуме Союза композиторов исполнялась его новая «Песнь о лесах», посвященная сталинскому плану преобразования природы СССР. Идея зародилась вскоре после опубликования постановления об этом плане, много помог поэт Е. Долматовский, написавший удачный текст. Ещё до пленума «Песнь о лесах» исполнил государственный оркестр под управлением Е. Мравинского – «одного из лучших дирижеров».

– Это кантата или оратория?

– Я предпочитаю называть эту вещь кантатой, «оратория» звучит слишком пышно и громко.

В творческих планах – опера «Октябрь», непосредственно об октябрьских событиях 1917 года в Петрограде на либретто Владимира Луговского (теперь мы знаем, что эту оперу написал

не Шостакович, а Мурадели). Закончил три части нового квартета, сейчас работаю над последней, четвёртой.

Недавно завершился III пленум Союза композиторов, где я прослушал много новых произведений. Отрадно, что в музыку приходят новые, молодые, силы. В первую очередь отмечу симфоническую поэму студента 4-го курса бакинской консерватории Дж. Джангирова «По ту сторону Аракса». Тема – иранский Азербайджан, часть азербайджанского народа, искусственно разделённого, продолжает находиться под иранским игом. Прекрасное сочинение, несмотря на молодость автора, очень зрелое. Хорошее впечатление оставили вещи другого азербайджанца, Ниязи, – «Мугам» и «Раст». Отмечу также «Сон Степана Разина» молодого композитора Г. Уствольской, кантату «За мир» – очень злободневное произведение ленинградца А. Маневича. С большим удовольствием слушал по радио Виолончельную сонату Прокофьева... Пленум показал, что наша музыка на подъёме, появляются новые силы.

Много занимаюсь общественной деятельностью, это большая нагрузка. Я старый депутат Дзержинского района Ленинграда, не реже раза в месяц приходится выезжать в Ленинград. Депутат Верховного Совета РСФСР. Веду активную работу в Союзе композиторов, слежу за музыкальной деятельностью. Член Советского комитета борьбы за мир, член комитета по подготовке к 70-летию Сталина – сегодня первое заседание, но, как видите, не могу присутствовать.

Впечатления от поездки в США: музыканты с трудом выходят на поверхность (так, буквально). Чтобы композитору попробовать новое произведение, нужны немалые средства, а где их взять? Кто побогаче, может подготовить концерт, разослать билеты, и то публика не придёт. Кто беден, тот не может, пробиться можно только с трудом. Положение советских композиторов несравнимо, им всё предоставляется бесплатно: оркестры, помещения и т. п.

Итальянскую музыку очень люблю, трудно назвать самого любимого композитора, я всех люблю. Пожалуй, прежде всего Верди, но и Россини, и Пуччини. Очень люблю итальянскую народную песню, богатую мелодикой. Из современных итальянских композиторов интересен Ризетти; Казеллу не люблю. К сожалению, не был на недавнем концерте Карло Цекки, не был тогда в Москве, в своё время слушал его как пианиста.

Осенью отдыхал в Сочи, в доме отдыха «Правда». Летом работал над «Песнью о лесах» на даче в Комарове под Ленинградом.

Когда работаю? Всё время, но лучше всего ранним утром. В 7.30 – 8 часов утра уже приступаю к работе. Но, разумеется,

тружусь не круглые сутки, ночью, как правило, сплю.

В июне 1953 года Шостаковича включили в состав делегации, приглашённой Австро-советским обществом на свой очередной конгресс. Возглавлял делегацию кинорежиссёр Г.В. Александров. В «четвёрку» входили ещё моя прямая начальница Л.Д. Кислова и в качестве секретаря – я, старший референт ВОКСа по Австрии.

Туда летели самолётом, 5 июня были в Вене, остановились в «Гранд-отеле» – огромной гостинице на Ринге, находившейся в то время в распоряжении советских оккупационных войск.

Австрийские власти относились к делегации подчёркнуто любезно и предупредительно. Нас принял сам президент республики. Австрийцы надеялись на скорое прекращение оккупации в связи с переменами в политике после смерти Сталина.



Советская делегация на приёме у президента Австрии Теодора Кёрнера. Справа налево: Т. Кёрнер, Г.В. Александров, Д.Д. Шостакович, Ю.А. Федосюк

Во время десятидневной поездки я имел возможность близко познакомиться с Шостаковичем, почти непрерывно общаясь с ним.

Вот какой образ сложился в моём представлении. Человек – весь в себе, точнее – в музыке, но милый, любезный и предупредительный. Даже слишком мил и любезен – не по положению. Не умеет вести себя с должным достоинством –

обратная крайность от чванства. Парадокс: равнодушный ко всяким почестям и знакам внимания, более того – ненавидящий их, вынужден постоянно их принимать, реагировать на них. А ему бы только слушать музыку, сочинять, а если уж беседовать – то с узким кругом близких друзей. Любые почести воспринимает как дискомфорт, правда, уже ставший привычным. Нормальное состояние – творческое одиночество. А тут – пресса, выступления, всеобщее внимание.

Абсолютное безразличие к своей внешности, одежде, причёске. Костюм постоянно мятый, галстук завязан неумело. Несолиден: несмотря на 47 лет, в движениях много юношеского, студенческого.

Гордый рассказ: «Знаете, шнурки от полуботинок – коварнейшая вещь. Постоянно развязываются сами собой, а это очень неудобно, особенно когда на публике. Я долго мучался, пока не изобрёл собственного надёжного способа завязывания. Вот, смотрите: надо заматывать концы за пятку, потом вперёд, вот так и так» (показывает нечто очень сложное и несуразное).

И несмотря на способ, шнурки часто развязываются и волочатся сзади. С остальными, не знающими «способа», этого не случается просто потому, что шнурки соответственно короткие. Шостакович же уверен, что к полуботинкам шнурки должны быть длинные, только завязывать надо умело. И его не переубедишь.

Ест очень быстро, торопливо, впечатление такое, что не разбирает, что подают, в еде непривередлив. При этом жалуется, что страдает печенью.

Плохо ориентируется, забывает, где дверь, в которую вошел, блуждает, ищет...

На одной из венских радиостанций австрийские композиторы устраивают для Шостаковича показ своих произведений. Конечно, ничего выдающегося нет, однако Шостакович никого не хочет обидеть, всех сдержанно хвалит. Потом, оставшись с ним наедине, спрашиваю: «А всё-таки нравятся вам вещи М.Р.?» – «Он отличный парень, но, знаете, это, конечно, не первоклассная музыка. Но ведь он в этом ничуть не виноват, старается, ищет, а дарования не хватает, что тут сделаешь? У нас почему-то критика всегда ищет исправимые причины, по которым произведение не удалось; всё что угодно назовут: и что мало работал, и идею не продумал, и оркестровка не та, а самое-то главное, очевидное – что нету таланта – сказать бояться, а в этом вся разгадка. И в самом деле: как это сказать профессионалу? Ведь язык не повернётся».

6 июня вечером я отправляюсь с ним на симфонический концерт в венский Концертхауз. Изысканная публика,

современная программа: Онеггер, Берг, Стравинский. Для меня – скучно и сложно. Шостакович рядом слушает напряжённо, внимательно. В перерывах между музыкой разговариваем.

Шостакович: Онеггер – наиболее яркий из всех. Правда, он мрачен. Зато сильно и убедительно выражает своё чувство в музыке. А это – главное в искусстве.

Публика здесь кашляет во время исполнения, это отвратительно, мешает и исполнителям, и слушателям.

Я: А всегда ли можно сдержаться?

Шостакович (*оживляясь*): Тут есть способ, ленинградцев я ему уже давно обучил, в филармонии кашля не услышите, а москвичи никак не научатся. Вот, смотрите: вам хочется кашлять, возьмите платок, сожмите его и плотно прижмите ко рту. Теперь кашляйте, сколько хотите, ваш кашель не будет слышен даже соседям. Как просто и как мало кто об этом знает!

Знаете, кто из австрийских композиторов оказал на меня наибольшее влияние, ещё с молодых лет? Малер, Густав Малер, да! Наиболее тонкие критики это давно заметили.

Знаете, я в молодости сделал оркестровку «Бориса Годунова» Мусоргского. Ни одна оркестровка этой оперы меня не удовлетворяла.

Я: Я знаю «Бориса Годунова» только в оркестровке Римского-Корсакова.

Шостакович (*отвергающе машет рукой*): Это не то. Римский-Корсаков Мусоргского причесал, завил и одеколоном облил. У меня же оркестровка грубая, под Мусоргского.

В антракте в ложу приходит некто от администрации и любезно заявляет: «Композитор Готфрид фон Эйнем желает познакомиться с маэстро Шостаковичем и просит его в свою ложу, напротив». Шостакович тут же вскакивает и хочет устремиться в ложу неизвестного ему Эйнема. Удерживаю Шостаковича и говорю представителю Концертхауза: «Если господин Эйнем хочет познакомиться с маэстро, то пусть, наоборот, попросит разрешения прийти в ложу господина Шостаковича». Чин уходит, Эйнем так и не появляется. Как было бы унижительно, если бы Шостакович побежал в ложу бесцеремонного и мало кому известного Эйнема! Рассказывал об этом знакомым австрийским музыкантам, те были единодушно возмущены «приглашением».

День спустя вся делегация едет смотреть знаменитый венский парк «Пратер». Там малоллюдно, будничное утро, аттракционы пустуют. Один из них – для любителей сильных ощущений: тележка летит по рельсам круто вниз, потом вверх, затем снова вниз через какую-то ванну, разбрызгивая воду, и наконец «приземляется». Никого из нас аттракцион не прельщает. Вдруг

Шостакович: «Я непременно прокачусь!» С нами советские офицеры из Военной администрации, пытаются отговорить, опасаются, как бы чего не случилось с выдающимся человеком. Какое там! Шостакович убегает, садится один в тележку и совершает головокружительный кульбит, только его широкий красный галстук развеивается на ветру. Возвращается радостный, возбуждённый: «Эксцентрику я люблю, большое удовольствие получил. Не верите? Вы, наверное, забыли, что я автор оперы “Нос”!» Радует, как человек, доказавший, что он вовсе не вмещается в те рамки, куда его на основании поверхностных впечатлений привыкли укладывать окружающие.

Тут же другой, очень древний аттракцион – пресловутая венская «Höllenfahrt», то есть «Путешествие в ад». Надпись: детям и слабонервным не рекомендуется. Узнав об этом, Шостакович спешит к открытому вагончику миниатюрного поезда. Тут уж рядом с ним усаживаюсь и я, тем более что других охотников нет. Поезд въезжает в совершенно тёмный тоннель, делает крутые виражи, справа и слева появляются ужасы: смерть замахивается на нас косой, гигантский осьминог пытается опутать своими щупальцами, страшная змея, отвратительно шипя, протягивает жало и тому подобное. Шостакович разочарован: «Дешёвка, примитив, ничего интересного».

12 июня еду с Шостаковичем на автомобиле в Грац – столицу Штирии, входящей в английскую зону оккупации. Крутой Земмерингский перевал через Альпы, уши закладывает, пьём кофе в ресторанчике, вид сверху исключительный. В Граце нас поселяют в старинной гостинице на одной из узких центральных улиц. Заполняем длиннейшую анкету: советские граждане сюда попадают нечасто. На улицах часто встречаются английские офицеры и солдаты («томми»). Напротив аптека с датой «1527 год». Гостиница ненамного моложе. Патриархальный номер с огромными кроватями, деревянным потолком, солидным умывальником. Никакого модерна. В таком номере задолго до Шостаковича могли останавливаться и Гайдн, и Бетховен. Шостакович неожиданно для меня сразу засыпает и спит очень крепко, вовсе не сном нервной творческой натуры. Утром в одних белых трусах идёт к умывальнику, который тут же, в номере, моется. У него очень белое, безволосое, чуть-чуть обрюзгшее тело, в одежде же он кажется стройным юношей.

В Грац поехали по настоянию местной музыкальной академии (по-нашему – консерватории), пожелавшей увидеть знаменитого русского музыканта. У входа в неё нас окружают корреспонденты, музыканты, студенты. Вся толпа вместе с нами поднимается на второй этаж. Идём по длинному коридору в

актовый зал. Тут происходит постыдный для меня, но очень характерный для Шостаковича эпизод. Идя впереди, я разговорился с каким-то австрийцем, а Шостакович где-то скромно затерялся позади в толпе, чего я и не заметил. У дверей зала – благообразные старцы, один из них, ректор, протягивает ко мне руки и со всей австрийской вежливостью начинает: «Мы счастливы приветствовать вас в столице нашей древней земли, вырастившей немало известных музыкантов. Ваш визит к нам, дорогой маэстро...» Быстро объясняю ректору ошибку и с трудом вытаскиваю из толпы Шостаковича. Вокруг хихиканье студентов.

Идём в зал, где набирается множество народу. Сначала речи. Шостакович со мной рядом, в первом ряду. Он шепчет: «Сейчас мне выступать, наверно, потом придется сыграть, а у меня ногти давно не стриженные. Я заметил, вы в нагрудном карманчике всегда носите ножнички, так дайте их мне». Незаметно стрижет ногти. Потом его приглашают на сцену, он произносит живую, интересную речь о системе музыкального образования в СССР, отвечает на вопросы. Один из вопросов несколько каверзный: как вы относитесь к критикам и рецензентам? Шостакович с непринуждённой, широкой улыбкой: «В целом отрицательно, стараюсь не обращать на них внимания». Одобрительный гул аудитории. Затем садится за рояль и играет что-то своё. Аплодисменты.

Выступление Шостаковича переводила некая Роза К., австрийка, 15 лет прожившая в эмиграции в Москве. Переводила не только неуверенно, но и неточно, нюансы остроумной речи ею были не поняты, пропали в переводе. Я откровенно злюсь, Шостакович спокоен и невозмутим. По возвращении в Вену Александров и Кислова спрашивают его, как переводила Роза. Я спешу вклиниться со своим «отвратительно». Шостакович же хладнокровно отвечает буквально следующими словами, они запомнились мне полностью: «К сожалению, уважаемая Роза на сей раз оказалась не совсем на высоте». Ни Розы, никого, кто мог бы передать ей отзыв, поблизости не было, можно было бы выразиться жёстче, но... Не такой это был человек.

Из молодых советских композиторов выделяет родившегося в эмиграции Андрея Волконского. В Вене около Шостаковича крутится ровесник Волконского – музыкальный критик граф Разумовский – последний отпрыск известного рода. Плохо говорит по-русски, назойлив. Шостакович с ним, как и со всеми, отменно вежлив и любезен.

Из художников особо высоко ценит Леонардо да Винчи и Сурикова, из писателей – Чехова.

Перед отъездом «отовариваемся» в магазине-кооперативе

Советского посольства. Шостакович тратит валюту не на себя, а на семью. Говорит мне: «Такие поездки только и позволяют восполнить то, чего не хватает». Из дальнейшего разговора с удивлением узнаю, что материального изобилия он отнюдь не испытывает: «Большая семья, кроме того, старуха-нянька, детей воспитывала, сейчас совсем одряхлела, но не выгонять же на улицу: стала членом семьи».

Обратно почему-то едем поездом, долго и в большой духоте. В Венгрии – наводнение, видим из окна вагона залитые деревни. На венгерских станциях ребяташки по-русски выпрашивают у пассажиров бумагу, карандаши: в школе писать будто бы нечем и не на чем. Шостаковича коробит – лицо его болезненно искажается, он что-то даёт маленьким попрошайкам.

В пограничном Чопе в ресторане скрипач-венгр узнаёт Шостаковича и просит прислать ему какие-нибудь ноты для скрипки: на месте не купить. Шостакович берёт у него адрес, обещает прислать, слышу, как потом говорит Александрову: «Ведь такие услуги оказывать тоже важно, из таких мелочей о нас тоже складывается мнение».

Во время долгого ожидания в Чопе говорит мне, что сына моего насильно музыке учить не надо: если проснется желание, он сам к ней потянется. Рассказывает, что сам пристрастился к музыке в возрасте семи лет, слушая любительский квартет соседей: тогда, накануне Первой мировой войны, домашнее музицирование в Петербурге было в большой моде.

Говорю ему: «У нас дома есть долгоиграющая пластинка с вашей “Песню о лесах”, мой пятилетний сын любит её слушать, помнит даже названия частей, но две смежные части воспринимает как одну, называя слитно: “Пионеры сажают леса, сталинградцы шагают вперёд”».

– Ваш сын прав, в музыкальном отношении это одна часть.

– Терпеть не могу цветов, не выношу ни запаха, ни вида. Представляете, как это мучительно и сложно: в концертах постоянно преподносят цветы, и надо делать вид, что это приятно.

Спрашиваю, не вызвано ли это впечатлением пережитых в раннем детстве похорон, когда цветы стали ассоциироваться с покойником. Задумывается и говорит: «Пожалуй, да, в детстве запомнились похороны (называет кого-то близкого, забыл) с обилием цветов».

– Мой дед Болеслав был одним из директоров Пулковской обсерватории, видным астрономом, там до сих пор висит его портрет.

Сказано с большой гордостью, а я с удивлением думаю: тебе

ли гордиться малоизвестным дедом-астрономом, когда всемирно известен ты сам... Странное у него честолюбие: направлено не на себя, а вовне, на близких. А если сам тщеславится, то пустяками: способом глушить кашель, искусством завязывания шнурков на обуви, полётом на аттракционе. Но только не главным – не творчеством.

«Я страшно ленив». Так и сказал. Это при его-то плодовитости! Не похоже на кокетство, он во всём естествен. Скорее, повышенная требовательность к себе.

В другой раз, говоря о своем сыне, тоже с горечью пожаловался на его лень, «хотя и очень способный малый». Это же сказал при сыне, знакомя с ним в нижнем фойе Большого театра, где я встретил его несколько лет спустя. Максиму тогда было на вид лет четырнадцать-пятнадцать.

В вагоне при мне говорил Александрову: «Людская злоба – явление совершенно непостижимое. Когда меня критиковали за формализм, вы не поверите, сколько я злобных писем получил от совершенно незнакомых людей, вряд ли сведущих в музыке. Там можно, было встретить и такие слова: “Тебя надо казнить, убить, уничтожить, негодяй” и тому подобное».

По тону чувствовалось, что он не возмущён этими оскорблениями (и тогда не возмущался), а всего лишь искренне, чистосердечно удивлён: и что я им сделал?

Идём из нашего спального вагона в вагон-ресторан через вереницу плацкартных вагонов. Вечер, с полок торчат грязные пятки, плачут младенцы, пахнет махоркой и чем-то кислым, где-то ругаются, пьют, играют в карты. Картина мне привычная, но знакома ли она ему? А он спокойно проходит через этот Дантов ад, без брезгливости, торопливости или какого-либо удивления. По радио детский дискант нежно поет: «Родина слышит, родина знает, где в небесах её сын пролетает...»^[40] В искреннем неведении спрашиваю его в ближайшем тамбуре: «Чья эта песня, Дмитрий Дмитриевич?» Он спокойно отвечает: «Это моя вещь. Хорошо исполнял её Женя Таланов, но сейчас он уже не может петь, голос переломился». Тогда же я от него узнал, что музыкальная заставка к футбольным передачам – Матвея Блантера.

– Дмитрий Дмитриевич, вы встречались когда-нибудь с Горьким?

– Один раз в жизни. У него на даче в Горках. Было лето, приглашено было много народу, за длинный стол на террасе село человек сорок-пятьдесят, я далеко от него сидел. Со мною он только поздоровался, не говорил. За столом все взоры, конечно, были обращены на него, говорил преимущественно он. О чём?

Представьте себе, ничего не помню, какая-то суета была. Одно только запомнилось, потому что удивило. Речь зашла о французах, тут вдруг Горький пробасил: «Что вы мне толкуете о французах? Они же никогда ног не моют». А больше ничего не помню.

– Ужасная глупость брать за пользование общественной уборной деньги. В Москве так долго было, пока благодаря мне не отменили. Неприятный случай помог. Выхожу я как-то из дома, вдруг на улице схватило, зашёл, посидел в кабинке. Выхожу, а тут, представьте себе, эта тётка, грубая такая, со шваброй: плати гривенник. Я говорю: пожалуйста, ищу в карманах, а там, представьте себе, ни копейки! Обещаю принести потом, она не верит, кричит, ругается. Собралась толпа, она меня схватила, не выпускает, не знаю, что и делать. Тут, на счастье, милиционер, я ему объяснил всё, и меня отпустили. Придя домой, написал об этом подробное письмо в Моссовет с предложением плату за кабинки отменить, и, как видите, помогло, теперь плату не берут, отменили.

– Мечтаю написать балет. Однажды написал («Светлый ручей») – обругали. И оперетту хочу написать.

Оперетту («Москва, Черемушки») написал, балет так и не сочинил.

Об Улановой^[41]: «Удивительно, как Галина Сергеевна заволаживает мужчин. Я как-то лежал в больнице вдвоём в одной палате с Берсеневым^[42]. Иван Николаевич умнейший, интереснейший человек, но тогда он был так влюблён в Галину Сергеевну, что только о ней и мог говорить. В этом что-то было болезненное: только о ней, какая она чудесная и тому подобное. Признаться, я уже не мог этого слушать и не рад был, что с ним в одну палату попал».

Подъезжаем к Киеву. У самого перрона поезд вдруг резко затормаживает, с полок сыплются вещи. Жара страшная. Выходим с Шостаковичем на платформу, решаем пообедать: впереди, у паровоза, накрыты столы с обедами. Идём вперед, вдруг вижу: под одним из вагонов лежит отрезанная колесом женская нога в калоше, кругом кровь. Теперь причина торможения ясна: работали асфальтщицы, одна замешкалась. Раненую унесли, про ногу забыли. Стараюсь заслонить от Шостаковича неприятную картину, отвлекаю разговорами, но напрасно: он явно уже заметил отрезанную ногу. Садимся за стол, горячие щи и котлеты в рот не идут, в глазах нога. Кругом страшная духота, но оба молча доедаем всё и запиваем компотом из сухофруктов. Неприятный обед, не то что в венском Гранд-отеле.



Д.Д. Шостакович на приёме у президента Австрии Теодора Кёрнера

Г.В. Александров о Шостаковиче, позднее, у себя на даче: «Какой чудесный, обаятельнейший человек! Я себе почему-то таким Чайковского представляю (в то время Александров готовился снимать художественный фильм о Чайковском). Актёр – исполнитель Чайковского должен много взять у Шостаковича! На всю жизнь запомнил Дмитрия Дмитриевича в эвакуации: стоит на перроне растерянный, с двумя авоськами в руках, а в авоськах – что бы вы подумали? Его маленькие дети, в одной авоське сын, в другой – дочка».

В Вене нас много фотографировали. На всех официальных снимках Шостакович один и тот же: изобильно приветливый, неловко изображающий любезность и даже почтительность. Особенно выразителен он на приёме у президента Кёрнера: детски застенчивая улыбка, прихотливо сложившиеся на мокром лбу локоночки, вид растерянный, почти угодливый.

Перед расставанием прошу его надписать на память одну из карточек. Почерк Шостаковича много оригинальнее его внешности: удивительный, необычный. Смесь барокко с готикой. Горизонтальность нигде не выдерживается, извилистые буквы то

лезут вверх, то крутым водопадом срываются вниз. Похоже на нотопись. Такой почерк поёт сам собой, независимо от содержания написанного. Почерк человека необыкновенного, способного писать музыку, детски ясную и дьявольски сложную, при этом всегда оставаясь самим собой. Старик Гольденвейзер, идеалом которого была толстовская простота, напишет о Шостаковиче потом в дневнике не без раздражения: человек умный, но не очень ясный.

На вокзале в Москве его встречала Нина Васильевна с сыном. Она работала геологом и вскоре безвременно умерла, говорили, что от заворота кишок, в экспедиции. Потом я увидел его с новой женой, музыковедом. Он был к ней очень привязан до конца дней своих, говорили, что она отвечала ему тем же.

В 1958 году Шостаковича сделали президентом Советско-австрийского общества, вскоре я увидел его на торжественной церемонии подписания в Доме дружбы договора с Австро-советским обществом. Я стоял статистом на заднем плане и меньше всего старался лезть в глаза. Но хотя знакомство наше было очень кратковременным, он по окончании церемонии сделал крюк, чтобы горячо и долго потрясти мою руку. Пишу это не ради тщеславия (думаю, он и имя моё к тому времени забыл), а чтобы подчеркнуть удивительную его любезность. Ни один из великих его ранга никогда бы этого не подумал сделать, да и не вызывалось это никакой необходимостью.

Последний раз я видел его в Малом зале Консерватории 31 января 1975 года. Был концерт, на котором Е. Нестеренко^[43] впервые в Москве исполнял его сюиту на стихи Микеланджело. Когда все уселись, Шостакович, стараясь быть неприметным, вошёл с женой и сел в третьем или четвертом ряду. Кажется, это было последнее его публичное появление. Отбор стихотворений для сюиты был сугубо личным, исповедальным, произведение по существу было завещанием, музыка – соответственно проникновенной, глубокой, конгениальной тексту. В одиннадцати частях взволнованно говорилось о мире, «пребывающем в слепоте», о счастье в любви, смысле творчества, неизбежной смерти. Подводился итог жизни и творчества – спокойный и мужественный, с полным сознанием значимости прожитого и сотворённого.

После окончания сюиты Шостакович подошел к эстраде. Было ясно, что он прощается с публикой: лицо его отекло, одеревенело, правая сторона туловища была малоподвижна. Волосы стали редкими, хохолок исчез. Он уже не раскланивался, а только кивал головой. Мне вспомнился молодой Шостакович с его лёгкой, несолидной походкой и движениями; вспомнилась комичная,

только ему присущая манера раскланиваться – быстрые, частые, словно в физзарядке, поясные поклоны, будто шуточные, утрированные. В те времена часть публики, непривыкшая, смеялась над его поклонами, а он в ответ особенно широко и приветливо улыбался, не понимая обидного значения смеха. Теперь было не то. С нами навсегда прощался обречённый на скорую смерть тяжело больной человек, который понимал, как мало дней ему осталось.

Через полгода его не стало, к этому все – и, конечно, он сам – были подготовлены. По телевизору передавали траурный митинг из Большого зала Консерватории. Говорились речи. Тот же Тихон Хренников, который в 1948 году называл Шостаковича антинародным композитором, теперь, над его гробом, дал ему эпитет «великий». Всё стало на свои места. Кругом было невиданное изобилие ненавистных ему цветов – впервые они никак не могли его раздражать. И полную силу и убедительность приобрели слова из «Бессмертия» – последней части сюиты на стихи Микеланджело:

Я словно б мёртв, но миру в утешенье
Я тысячами душ живу в сердцах
Всех любящих, и, значит, я не прах,
И смертное меня не тронет тленье.



И.Г. Эренбург

В 1944 году, осенью, когда я, служа в армии, находился в Москве, одна моя приятельница повела меня на авторский утренник Ильи Эренбурга^[44] в Колонный зал Дома союзов. В годы войны Эренбург благодаря своим статьям пользовался особой популярностью в народе как общепризнанный публицист и очеркист номер один: прессу времен войны немислимо себе представить без Эренбурга. Статьи его жадно прочитывались всеми: от маршалов до рядовых. Зал был битком набит публикой.

На трибуну вышел в гражданском костюме Эренбург и ровным, глуховатым голосом начал читать свои рассказы, посвящённые фронту и тылу. В них были острые, яркие детали и наблюдения, но в целом впечатления они не оставили. Не в рассказах была сила писателя. Тем не менее публика встретила и проводила его восторженно. Тогда он показался мне стройным и

моложавым, хотя волосы у него были полуседыми.

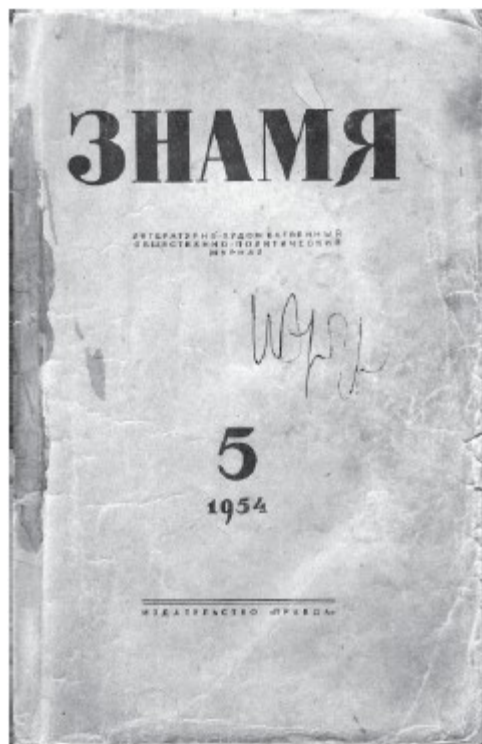
Затем, работая в ВОКСе, я часто видел Эренбурга на приёмах. Он заметно состарился, ссутулился и поседел. Под глазами нависли мешки, вокруг рта прошли глубокие морщины. Он не отличался ростом и статью, но даже в густой толпе приглашённых сразу же бросался в глаза. Пиджак носил обычно цветной, рубаша тоже была цветная; парадных черных костюмов с белым воротничком не признавал, свои привычки блюл свято.

На приёмах Эренбург обычно беседовал стоя с одним-двумя знакомыми. Говорить явно любил больше, чем слушать. Не выпускал изо рта или из руки своей любимой трубки. Вокруг него сразу же собирался кружок. Как-то подошел и я и услышал:

– А табак я курю смешанный – советское «Золотое руно» и французский (он назвал сорт). Лучшая смесь, другой не признаю.

Его слова мне показались символичными. Поймав меня взором, он с неудовольствием замолчал. Мы не были знакомы: вероятно, он принял меня по молодости моих лет за одного из «мальчиков», слонявшихся на приёмах. Обиженный, я сразу отошёл.

А впрочем, может быть, он признал во мне воксовского чиновника, а ненавидел он любых чиновников, в том числе и воксовских. Со мной в отделе работала Татьяна С., референт по Франции. Служба заставляла её общаться с Эренбургом, хотя чаще всего он присылал к нам своего литературного секретаря – пожилую интеллигентную даму. Но как-то Татьяна С. побывала на квартире Эренбурга и вернулась чуть ли не в слезах: он был с ней холоден и резок, хотя она была красивой, видной девушкой. В повести «Оттепель» он вывел глупую воксовскую переводчицу, якобы уверявшую иностранцев, что в СССР нет и не может быть больных. Все мы решили, что так он изобразил Татьяну С., которую невзлюбил как чиновницу.



Автограф И.Г. Эренбурга на 5-м номере журнале «Знамя» за 1954 г., в котором опубликована его повесть «Оттепель»

Человеком Эренбург был резким, нелёгким, остроты его отличались бестактностью. Как борец за мир, он часто ездил за границу в составе самых пёстрых делегаций. Так, однажды он оказался в делегации вместе с митрополитом Крутицким, Л.Т. Космодемьянской – матерью Зои и Шуры Космодемьянских, летчиком Маресьевым. Мне рассказывали, что по этому поводу он острил: «Странная делегация: один космополит (о себе), один митрополит, мать, потерявшая двоих детей, лётчик, потерявший обе ноги».

В своих писаниях Эренбург не терпел ни малейшей редакторской или цензорской правки. Незадолго до своей смерти он переслал к нам в АПН свою статью для публикации в одном французском журнале. В статье содержалась какая-то фраза, которую моё начальство не сочло возможным пропустить и заставило меня (я замещал тогда главного редактора по Западной Европе) потребовать у Эренбурга изменений.

Я поручил вести переговоры редактору. Эренбург не соглашался ни в какую. Так статья и не пошла.

Как только Эренбург умер, меня вызвал ответственный секретарь Агентства Пищик и приказал послать статью.

– Но ведь Эренбург не согласился вычеркнуть или исправить фразу.

– Посылайте, как было, ничего не меняя.

И таинственно добавил:

– Так надо.

Не помню, что это была за фраза, но речь шла о мелочи. Понять не могу, что внезапно изменилось в этом мелком деле со смертью автора.

Однажды на заседании правления АПН председатель Бурков рассказывал о каком-то высоком совещании в ЦК, на котором выступил и Эренбург. Это было после XX съезда КПСС. Тут Эренбургу задали вопрос: как он думает, почему при Сталине он не был репрессирован? Не потому ли, что Сталин его очень любил?

На это Эренбург спокойно ответил:

– Сталин расправлялся и с теми, кого он не любил, и с теми, кого любил. Почему он не расправился со мной – сам удивляюсь.

Романы Эренбурга, написанные сильно и динамично, всё же во многом напоминают репортажи или киносценарии. Они по-западному ёмки и нерасплывчаты, но живописности и широкого дыхания, свойственных русской классической прозе, им не хватает. Кроме того, Эренбург всегда стремился поговорить не о вечных проблемах, а о злободневном, поднимать острые вопросы современности, а печатать при Сталине произведения обо всём, что болело, было невозможно. Поэтому сейчас я с трудом представляю себе человека, читающего или перечитывающего «Бурю», «Девятый вал» или «Падение Парижа» с их ультразлободневностью, испорченной к тому же неизбежными в силу политических причин недомолвками.

Подлинный памятник Эренбург воздвиг себе своими военными статьями, которые читаются и сегодня, но прежде всего мемуарами «Люди, годы, жизнь», где его острая наблюдательность сочетается с глубиной и смелостью исторических обобщений. Подобного широкоохватного произведения о первых двух третях XX века, напоминающего «Былое и думы» Герцена, я в нашей литературе не помню: его можно с наслаждением читать и перечитывать, оно, несомненно, наделено бессмертием.

ИНОСТРАНЦЫ



М. Андерсен-Нексе

В июне 1949 года, когда торжественно отмечалось 150-летие со дня рождения Пушкина, Союз писателей и ВОКС пригласили на празднование многих видных иностранных писателей. Среди них был и 80-летний Андерсен-Нексе^[45].

Престарелый датчанин отказался от предложенной гостям утомительной поездки в Ленинград, Псков и Михайловское и проводил всё время в Москве, где и до того бывал неоднократно. Как крупный писатель и верный друг Советского Союза, он был окружен почётом и вниманием.

Однажды, опоздав на общий обед иностранных гостей в ресторане «Националь», я уселся за одинокий стол в опустевшем зале второго этажа. Тут ко мне подошёл мой знакомый Владимир Стеженский, сотрудник иностранной комиссии Союза писателей СССР. Кстати, именно ему Ялта обязана тем, что полностью уцелела в войну: немцы готовились взорвать город, но Стеженский – в то время военный переводчик – сумел обворозить

захваченного в плен немецкого инженера, расставившего в Ялте цепочку подземных мин с тайным централизованным пунктом электрозажигания. Инженер, наслушавшись речей Стеженского о гуманизме и немецкой культуре, раскрыл ему всю систему, и она была своевременно обезврежена. За это скромного переводчика заслуженно удостоили звания почетного гражданина Ялты.

Стеженский пришел обедать с Андерсеном-Нексе и его супругой. Увидев меня, предложил отобедать вместе. Познакомились. Я занял место слева от писателя, усевшегося в торце стола, и внимательно слушал, взирая на него.

Нексе, полный, крупный старик с гривой зачёсанных назад полуседых волос, широкоскулым волевым лицом, очень напомнил мне внешне Бетховена, если бы композитор дожил до его лет. Повязав вокруг шеи накрахмаленную салфетку, Нексе вкушал обед с тем насладительным уважением к пище, которое свойственно людям, вдоволь наголодавшимся в молодости. А свою трудную, полунищую молодость он подробно описал в романах.

Нексе явно гордился женой, уже не первой, – рослой, довольно красивой брюнеткой, которая, хоть и не была молода (ей было явно за сорок), но вполне годилась бы ему в дочери. Обращался он к ней с нескрываемой нежностью. Жена была немкой, он познакомился с ней в Германии. Чувствовалось, что между супругами царят полное понимание и согласие.

Застольный разговор не запомнился, он явно касался проходных, бытовых мелочей. Одно лишь удивило и запомнилось: Нексе всюду восхищался Германией и немцами. Тогда, всего через четыре года после окончания кровопролитной агрессии гитлеровской Германии, это звучало необычно и даже вызывающе, тем более что Нексе был активным антифашистом. Он высоко отзывался о немецком трудолюбии, высокой культуре этой нации, говорил о большом будущем немецкого народа. Как известно, остаток своих лет датский писатель, провёл не в Дании, которая его не признавала, а в ГДР, где он пользовался огромным почётом и уважением властей. Там же, в ГДР, пять лет спустя он умер, там же и похоронен.

В 1985 году я побывал на родине писателя – в датском городке Нексе, чье название он присоединил к своей фамилии в качестве псевдонима. Надо иметь в виду, что фамилию Андерсен носит едва ли не каждый пятый датчанин и писателю надо было как-то выделиться из сотен тысяч Андерсенов.

В доме, где родился Нексе, – а он уцелел – живут посторонние люди, которые об авторе «Пелле-завоевателя» и знать не хотят. Неподалеку от дома – памятник в виде бюста на

высоком постаменте. Мы возложили к подножию венок. Скульптура мало напомнила мне живого писателя, с его подвижным и выразительным лицом, запомнившимся, когда он с аппетитом уписывал украинский борщ, которым так славилась кухня «Националя». Впрочем, таково свойство, наверное, очень многих памятников.



Г. Бёлль

Из всех западногерманских писателей Генрих Бёлль пользовался (да и пользуется) у нас наибольшей популярностью^[46].

Поэтому делегация советских писателей (директор Института мировой литературы И.И. Анисимов, украинский прозаик Михаил Стельмах и молдавский поэт Андрей Лупан), с которой осенью 1960 года я ездил по ФРГ, пожелала непременно встретиться с Бёллем.

Бёлль принял нас 29 ноября в своей обширной одноэтажной вилле в деревеньке Мюнгерсдорф около Кёльна. То была не летняя дача, а постоянное обиталище писателя.

Было сумрачно, свет не включали, и весь этот недолгий визит мне вспоминается в каком-то полумраке. Высокий, моложавый, с нервно-подвижным лицом, писатель принял нас весьма любезно. У него уже был гость – его друг, молодой литера туровед Рюле, который молча присутствовал на беседе. Фамилия Рюле нам тогда ничего не говорила, позднее выяснилось, что это весьма деятельный антисоветчик.

Бёлль, усадив нас на широкий диван, сразу же огорошил советских гостей:

– Весьма рад вашему визиту. Я как раз читаю книгу, которая всё глубже раскрывает передо мной вашу родину. Это мемуары Троцкого.

Мы сделали невольное глотательное движение и промолчали. А Бёлль как ни в чем ни бывало продолжал:

– Как тонко Троцкий чувствовал душу русского человека! И вообще – какой трогательно искренний, благородный и талантливый человек этот ваш Троцкий. Как увлекательно написал он свои воспоминания!

Наступившую паузу наконец нарушил глава делегации Анисимов:

– Троцкий не пользуется у нас уважением. Это политический банкрот. Народ его отверг.

– Вот это-то и знаменательно! – с живостью откликнулся хозяин. – Трагедия непонятого, честнейшего идеалиста. Недаром говорится, что несть пророка в своем отечестве. По книге видно, что это за чистейший человек.

Рюле молча улыбался.

Наконец удалось столкнуть Бёлля со скользкой темы. Он с жаром принялся рассказывать о своей недавней поездке в СССР, о встречах с советскими писателями, о том, как важно для взаимопонимания между обоими народами расширять и укреплять контакты. Недавно у него побывал журналист Лев Безыменский, он тоже об этом говорил. Бёлль всей душой за это, потому что страстно любит Россию, русского человека с его фанатизмом, широкой и неразгаданной душой.

С благоговейным трепетом Бёлль показал на висевшую у него на настенном ковре маленькую икону Богородицы – сувенир, привезённый из России.

Из всего слышанного стало ясно, что Бёлль любит не Советскую Россию, а Россию вообще, вне всяких исторических изменений, такой, как её изображали Толстой, Лесков и Достоевский. По некоторым деталям мне показалось, что Бёлль – религиозный, глубоко верующий человек.

Таков был наш визит к Бёллю. Мы вышли несколько обескураженными. Но мое общение с Бёллем имело вскоре печальное продолжение.

Через два года, в октябре 1962 года, Бёлль в очередной раз посетил СССР. Сразу же по приезде на него набросился корреспондент «Вечерней Москвы» Дранников и взял интервью. В публикации он искажил слова Бёлля, который предстал перед читателями чуть ли не как коммунист. Это вывело писателя из себя, он стал возмущаться и скандалить, грозил предать дело огласке. Всё это дошло до самого «верха», и Агентству печати

«Новости» было предложено успокоить Бёлля, взяв у него новое интервью. Но не для АПН, а для профсоюзной газеты «Труд». Заранее были подготовлены и утверждены весьма невинные, нейтральные вопросы, отпечатанные затем на немецком языке.

Председатель АПН Бурков вызвал меня и предложил отправиться к Бёллю в качестве интервьюера. При этом я должен был ложно представиться как корреспондент газеты «Труд». Надо представить себе, как мало меня обрадовала подобная миссия.

3 октября я поехал в гостиницу «Пекин», где проживал Бёлль. Интервью, сообщил я ему, предназначается для завтрашнего номера газеты; передал ему листок с вопросами. Ссылаясь на усталость после поездки в Троице-Сергиеву лавру, Бёлль всячески хотел уклониться от беседы или отложить её на следующий день. Однако я был непреклонен.

Тут Бёлль заявил, что интервью Дранникова в «Вечерней Москве» настолько омрачило его пребывание в СССР, что он две ночи не спал. Я сказал, что мне и моим коллегам – московским журналистам известно, что Дранников искажил некоторые мысли Бёлля, о чём мы очень сожалеем. Тем более советскому читателю будет интересно и важно прочитать высказывания популярного писателя в неискаженном виде – с этой целью я и приехал.

Тут немецкий гость смягчился: в интервью он никак не хочет касаться инцидента с Дранниковым, пусть это дело будет предано забвению. Он надеется, что случай этот нетипичен, а публикация беседы со мной будет типичной для современной русской журналистики.

Затем Бёлль, волнуясь и тщательно подбирая слова, продиктовал мне ответы на поставленные вопросы. Я записывал.

Он спросил, нужна ли в интервью «политика», на что я сказал, чтобы он отвечал, как считает нужным; мы же полагаем, что провести грань между литературой и политикой невозможно.

То, что он мне диктовал, не содержало особой крамолы, но было совершенно неприемлемо для советской прессы. За туманными, расплывчатыми формулировками проступала главная идея: в отсутствии взаимопонимания между ФРГ и СССР повинны обе стороны. Прежде всего дело тут в различной политической терминологии. На вопрос, какая проблематика более всего волнует сейчас западногерманских писателей (ожидался ответ: вопросы войны и мира, сотрудничества между народами), Бёлль ответил: «Проблема согласования политической терминологии, разделяющей оба мира». Именно этот тезис он считал самым важным во всём интервью и настаивал на том, чтобы ответ этот не был ни исключён, ни сокращён.

Я пытался хотя бы скромными поправками спасти интервью,

но Бёлль сражался за каждое слово. Так, он сказал что-то об интересе, который к нему проявила «московская публика», я пытался объяснить ему, что «московская публика» звучит несколько приниженно, и предлагал заменить это выражение на «советские читатели». Но Бёлль уперся, указав, что он выступал публично только в Москве. Мне же стало ясно, что он как огня боится термина «советский» как сугубо политического.

Уже прочитав запись – её помог мне сделать приставленный к Бёллю в качестве переводчика преподаватель ЛГУ Рожновский, – Бёлль вдруг решил согласовать ответы со своим спутником поэтом Рудольфом Хагельштанге. Тот по телефонному звонку сразу же явился в номер Бёлля. Началось совместное чтение, перечитывание и обсуждение записанного. Хагельштанге заново сформулировал ответ на третий вопрос – о приёме в СССР. Я с трудом удержался от замечания, что мне нужны ответы Бёлля, а не Хагельштанге.

Время шло, наконец окончательный текст был готов. Бёлль его завизировал, прося, чтобы все возможные изменения «Труд» с ним согласовал.

Вспоминая предыдущую встречу со мной, Бёлль сказал: «Помните, тогда между нами была дискуссия о Троцком?» На сей раз он поинтересовался, будет ли Троцкий реабилитирован в СССР, и вновь выразил горячие симпатии к нему. Хорошо ещё, подумал я, что ты хоть не вставил это в текст интервью.

С тяжёлым сердцем от невыполненной миссии я отправился в АПН, доложил ждавшему меня Буркову о свидании с Бёллем и показал записанное. Мне страшно хотелось – и об этом я сказал Буркову, – чтобы интервью в таком виде и было опубликовано: это лишит Бёлля возможности позорить нашу прессу. Но шеф только с улыбкой посмотрел на меня и стал звонить кому-то по аппарату правительственной связи – «вертушке».

Конечно же, интервью напечатать побоялись. Но на этом мой позор не кончился. По возвращении в ФРГ Бёлль, кажется, благородно отмолчался, зато его спутник Хагельштанге издал книгу о поездке в СССР «Кукла в кукле» или что-то вроде того. Советская действительность в книге уподоблялась матрёшке, которая по мере раскрытия из внешне огромного и впечатляющего оборачивалась чем-то ничтожным и мизерным. Целую страницу автор посвятил моему неудачному интервью, изобразив меня (к счастью, без указания имени) в самом глупом и невыгодном свете.

Теперь я думаю: хорошо ещё, что оба писателя не спросили меня как самозванного корреспондента «Труда», какова фамилия главного редактора и каков тираж газеты. Я не позаботился об

этом заранее осведомиться, не смог бы им ответить и разоблачил бы себя окончательно.



Херлуф Бидstrup

На майские празднества 1952 года ВОКС, как всегда, пригласил делегации из многих стран. Приехала и группа датчан. Их сопровождающий внезапно заболел, и мне поручили сопровождать делегацию 1 и 2 мая. Мы смотрели парад и демонстрацию с трибун Красной площади, потом я накормил их праздничным обедом в гостинице.

2 мая я повёз датчан на осмотр города, пояснения давал сам. На Ленинских горах мы вышли из машин размяться, погулять. О чём-то шутили, говорили, погода была хорошая. Один из членов делегации показал мне на очень молодого художавого датчанина в больших очках и в его присутствии шутиливо предупредил:

– Вы его опасайтесь. Это художник-карикатурист. У него очень злой карандаш. Так вас изобразит, что плакать будете.

Но человек в очках заулыбался и показал, что у него в руках

ничего нет, – дескать, я могу не опасаться.

Художником оказался Херлуф Бидstrup, никому тогда у нас не известный даже по имени, но вскоре получивший широкую популярность^[47]. В тот раз он впервые был в СССР.

Шли годы, занимательные серии рисунков Бидstrupа стали широко печататься не только в датской, но и в советской прессе. Изданные у нас альбомы Бидstrupа шли нарасхват. Я стал членом правления, общества «СССР – Дания», Бидstrup выступал перед нами неоднократно. Выступления его были необычны: он говорил не столько языком, сколько фломастером. Мгновенно, почти не отрывая руки от прикрепленного к стенке или вертикальной доске листа бумаги, он, словно маг, создавал из пустоты яркие, остроумные изображения. Как я вскоре убедился, художник этот отличался удивительной немногословностью. Всё, что он хотел высказать, он предпочитал выразить на бумаге.

В мае 1975 года, на 30-летие Победы, я побывал в Копенгагене. На прощальном обеде, данном в честь нашей делегации, присутствовал и Бидstrup. Я стал рассказывать ему о нашем знакомстве в 1952 году; оказалось, что он хорошо помнит свой первый приезд в Советский Союз и мою майскую экскурсию. На прощание он подарил мне недавно изданный альбом своих рисунков с тёплой надписью, а самое главное – с двумя моментально нарисованными смешными рожицами – своей и моей. Удивительно, как одним росчерком фломастера Бидstrup сумел отразить все характерные недостатки моей внешности. Свершилось давнее предсказание: «Он вас так нарисует, что плакать будете».



Рисунки и дарственная подпись Х. Бидstrupа на альбоме его карикатур

Последний раз я видел его в мае 1985 года, когда к 40-летию Победы вместе с группой ветеранов войны посетил на советском теплоходе Норвегию и Данию. В Копенгагене Бидstrup участвовал во встрече с нами, был на нашем теплоходе. Этот добрый, отзывчивый человек всегда старался засвидетельствовать симпатию к нашей стране.

А жизнь его стала нелёгкой: тяжело, неизлечимым недугом заболела жена, верный его друг. Возвращаясь с одинокой прогулки по Копенгагену, я увидел с верхней террасы парка, как по набережной медленно гуляли два старика: поседевший, согбенный Бидstrup бережно поддерживал свою едва передвигавшую ноги полупарализованную жену. Самому художнику было 73 года, время согнуло его.

Я не подошел, не окликнул. Картина была грустной; на моих глазах ещё недавно бодрый, крепкий человек как бы завершал свою, в общем-то, удачную и полезную жизнь. Подумать только: в мае 1952 года я едва не принял его за студента! Ни награды, которыми он был осыпан, ни достаток, ни взрослые, хорошие дети не могли остановить, выражаясь банально, «неумолимый бег времени».

С такими грустными мыслями я вернулся на теплоход.



Отто Гротеволь

Ещё до образования ГДР, в ноябре 1948 года, ВОКС принимал очень представительную делегацию немецкой общественности из обеих частей Германии – восточной и западной. В состав делегации входили представители всех политических партий советской оккупационной зоны. Возглавлял делегацию Отто Гротеволь – сопредседатель (вместе с Вильгельмом Пиком) Социалистической единой партии Германии, недавний лидер Социал-демократической партии всей Германии, членом которой состоял с 1912 года^[48]. До 1933 года Гротеволь был депутатом Рейхстага от социал-демократов.

Гротеволь обладал всеми данными для руководящего политического деятеля: мягкое, умное, интеллигентное лицо, солидные фигура и походка, отсутствие какой-либо суетливости, приятный, звучный голос и умение публично говорить. Это внешне, а внутренне – незаурядный ум, способность спокойно и

аргументированно выражать свои мысли и взгляды, внимательно выслушивать собеседника, отличная память. После дёрганых истериков и самовлюблённых позёров типа Гитлера и Геббельса такой человек не мог не импонировать усталому и пресыщенному политическими посулами немецкому обывателю. Немцы, близко знавшие Гротеволья, говорили мне, что даже убеждённый политический противник после беседы с ним уходил если не переубеждённым, то несколько смягчённым и поколебленным в своих позициях. Характерно, что западногерманская буржуазная пресса в отношении к Гротеволью воздерживалась от крепких выражений и сохраняла внешний такт.

С этим человеком мне пришлось по указанию начальства провести подряд три отпуска (не моих, разумеется, а его), когда его приглашали на отдых в Советский Союз. В качестве единственного сопровождающего, переводчика и развлекателя-собеседника я был с ним рядом с утра до вечера. Разумеется, и отлучался, когда не был особенно нужен, и отдыхал один.

Если это можно назвать работой, то работу приятней трудно придумать. Во-первых, я пользовался всеми благами, доступными высокому государственному деятелю и совершенно неизвестными миллионам таких «винтиков», как я. Начать с того, что ездили мы на курорт в комфортабельном салон-вагоне, встречать который на промежуточных станциях выходило местное начальство – без вступления в контакт. Само собой разумеется, при салон-вагоне была своя кухня, продукты и первоклассный повар. Если летели самолётом, то это был спецсамолёт только для гостя с наилучшим экипажем. На курортах в нашем распоряжении в любое время был шикарный ЗИЛ; на нём мы ездили осматривать местные достопримечательности. Иногда ЗИЛом для своих нужд пользовался и я. Проводились лечение и процедуры – ими я тоже не пренебрегал. Время проводили в прогулках, игре в теннис, чтении, беседах. Мне выделялся отличный номер с ванной, где помимо обычной воды текла и подогретая морская, с постоянно пополняемым запасом фруктов, минеральных и фруктовых вод. Вечером – кино, концерт или театр. Телевизоров тогда ещё не было.

Первый отпуск проводили в санатории «Красные камни» в Кисловодске, второй – там же плюс Сочи («дача Блинова»), третий – в Гагре, на «Холодной речке». Тут был наивысший комфорт: вся усадьба, бывшая сталинская, была отведена только Гротеволью. Для кинозала я за день заказывал по своему усмотрению кинофильмы из толстого каталога. Обычно в вечер смотрели два фильма.

Одной из моих обязанностей был ежедневный просмотр

доставляемых советских газет и краткий обзор их содержания не владевшему русским языком Гротеволлю.

Было и явление, неизвестное большинству отдыхающих, – постоянная охрана. Высокого гостя неотлучно сопровождали два гражданских чина, даже и в пеших прогулках по горам. Всего телохранителей поначалу было шесть, они сменялись, так как дежурили около покоев Гротеволля не только днём, но и ночью. После 1953 года число их уменьшилось. Но слежки или какого-либо проявления недоверия ко мне я не ощущал. Очень скоро привык, словно к теням. Когда и куда я уходил один, никто не интересовался.

После первой такого рода командировки худоба моя стала исчезать: я набрал 5 килограммов. Сколько же я стоил государству! Меж тем продолжала начисляться и зарплата.

Вместе с Гротеволем ездила и его жена Иоанна – заурядная, не лишённая привлекательности, но уже немолодая немочка. Эта женщина взяла от жизни всё, что могла. В Москве мне говорили, что до 1945 года она была женой крупного гитлеровского сановника. Когда муж исчез, она стала женой Гротеволля и уже при новом режиме продолжила роскошный образ жизни. Судя по её кругозору, она вряд ли способствовала нацизму, как мало содействовала и социализму. Политика ей была чужда. Уютная немецкая жена без особых запросов и какой-либо спеси. Супруги жили мирно и дружно, я не замечал никаких трений. Лишь однажды Гротеволь решил взять разгрузочный день, питался одними яблоками и к вечеру, голодный, начал немного ворчать на жену. Иоанна очень спокойно реагировала на это: «Брось свою проклятую разгрузку и возобнови нормальное питание, а то у тебя характер портится!» Так и было сделано.

Врач советовал Гротеволлю убрать растущее брюшко, которое тот шуточно называл «мой чемоданчик». Для этого прописали терренкур, душ и массаж. Я играл с ним и Иоанной в теннис, проявив себя достойным партнёром, то есть столь же слабым игроком, как и они. Иногда к игре привлекался один из охранников. В море купались только в Сочи, один раз в Гагре.

Доктор Петров рекомендовал Гротеволлю для похудения ходить на работу пешком, на что гость огорченно махнул рукой: «Что вы, разве это разрешит наша госбезопасность!»

Внешне отношения сложились равные, как между интеллигентными людьми. Ни разу Гротеволь на меня не вспылил, ничем не задел моего самолюбия. Я часто думал: такими бы были мои гораздо более мелкие начальники!

Впервые встретившись с ним на вокзале в Москве при посадке в салон-вагон, я обратился к нему «геноссе министр-президент»,

то есть «товарищ председатель совета министров», как и следовало по чину. Гротеволь мягко положил мне руку на плечо и сказал: «Запомните, дорогой, здесь нет никаких министров-президентов, а есть просто товарищ Гротеволь». Так мы и называли друг друга – «товарищ» с прибавлением фамилии. Но жену его, для отличия, я называл «товарищ Иоанна».

Приехав с ними в санаторий, я решил не навязываться супругам и обедать отдельно. Это сразу же вызвало протест: пусть я всегда столуюсь вместе с ними. Какой-либо нужды в переводе почти не было, всё являлось само собой, а закусок предлагался широчайший выбор. И каких закусок! Так вкусно я в жизни никогда не питался – при воспоминании слюнки текут. В какой-то праздник старик, бывший сталинский, а до того, как говорили охранники, царский повар, подал к столу торт, в основном из хвороста, в виде русской тройки. Это произведение искусства, выполненное абсолютно реалистически, как скульптура, жалко было разорять.

О чём разговаривали? О том, о сём – мало что помню. Супруги деликатно меня ни о чём не расспрашивали: дескать, что хочешь, расскажешь о себе сам. Гротеволь вспоминал, как в молодости был министром земли Брауншвейг и по неопытности совершал смешные и досадные промахи. Вообще к юмору он был весьма склонен. Говоря об особенностях произношения саксонцев – вместо *д* они часто произносят *т*, – вспоминал случай в лейпцигском театре, когда герой, закалываясь в финале, должен был произнести «О, Ende, Ende» (О, конец, конец!), а вместо этого произнес «О, Ente, Ente» (О, утка, утка!).

Вечерами часто играли в микадо – японскую игру, нечто вроде наших бирюлек, только не с фигурками, а длинными палочками; каждую надо было вытаскивать из кучи, не приводя в движение остальные. Меня и жену свою Гротеволь иногда добродушно упрекал в плутовстве. На прощание подарил мне эту игру. Когда я стал скромно отказываться от подарка, сказал с напускной серьёзностью:

– В самом деле, не стоит брать, ведь она мне очень нужна. Некоторые наивные люди полагают, что я управляю государством, но это глубокое заблуждение: на самом деле я день и ночь играю в микадо.

О политике помню лишь два разговора. Однажды Гротеволь изрек такую горькую истину: «Не так сложно подготовить и издать разумный закон. Самое трудное, почти невозможное – другое: добиться того, чтобы этот закон был правильно понят и точно исполнялся всей цепочкой нижестоящих начальников, сверху до самого низа. Иногда убеждаешься: когда закон доходит

до исполнения местными властями, то либо от него ничего не остается, либо он превращается в свою противоположность».

В другой раз он посетовал: «Конечно, правильно, что наша молодая Народная армия учится у советской. Но иной раз видишь тут большие перекосы. Зайдёшь в казарму, а там всё оформлено так, будто это не немецкая, а советская казарма».

Говорил, что имеет возможность проверять работу радио ГДР, только включая приемник в автомашине, то есть изредка, но, может быть, это к лучшему: реже расстраиваешься.

Как-то Иоанна, указывая на охранников, с невинным видом сказала мне: «Ваши коллеги из госбезопасности». Я оторопел. Но умница Гротеволь спокойно возразил: «Нет, Иоанна, ты ошибаешься: наш друг никакого отношения к этому ведомству не имеет».

Однажды я, не подумав, спросил, каковы лучшие курорты в ГДР. Гротеволь ответил, что лучшие во время войны разрушены и до сих пор не восстановлены. «Поэтому-то нам и приходится ездить отдыхать к вам в СССР». Я смутился, предположив, что в моем невинном вопросе гость узрел укоризненную подоплёку.

Что-то рассказывая о Максиме Горьком, я похвалил его эпопею «Жизнь Клима Самгина». Выяснилось, что в Германии она совершенно неизвестна, никогда не издавалась в немецком переводе. Я заметил, что это огромное упущение. Гротеволь заинтересовался, записал название и обещал «исправить положение». Не знаю, по этой ли причине или без вмешательства премьер-министра, но роман этот через два-три года в ГДР был издан.

Судьба Гротеволья в период нацизма сложилась своеобразно. Он не эмигрировал и не был заключён в концлагерь, как другие лидеры Социал-демократической партии, но полностью отошёл от политики и занялся коммерческой деятельностью, возглавив какую-то фирму. Когда советские войска пришли в Берлин, он принял деятельное участие в восстановлении на востоке страны своей партии, которая вскоре слилась с коммунистической. Историческое рукопожатие Вильгельма Пика и Отто Гротеволья на объединительном съезде было увековечено на партийном значке – эмблеме Социалистической единой партии Германии: две скрепленные в рукопожатии кисти.

Как-то зашла речь об очках и пенсне. Я сказал, что пенсне у нас давно вышло из моды, их никто не носит. «Как же? – возразил Гротеволь. – А ваш Берия? Он с носа не снимал пенсне». Это говорилось осенью 1953 года, после снятия и расстрела Берия. Кстати, в этот приезд охрана при Гротеволе была сокращена до минимума.

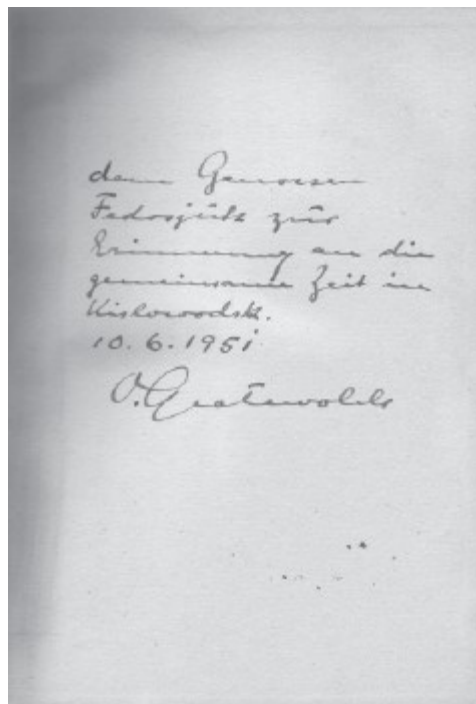
Гротеволь любил музыку, как классическую, так и лёгкую. На «Холодной речке» оказался проигрыватель с долгоиграющими пластинками: мы наслаждались Бетховеном, Моцартом, Чайковским. Кроме того, были французские пластинки с лёгкой музыкой, оставленные, как я выяснил, отдохавшим здесь незадолго до нас Морисом Торезом. Особо нам всем троим понравился Ив Монтан, вскоре получивший в Советском Союзе широкую известность благодаря радиопередачам Сергея Образцова.

В Кисловодск Гротеволь захватил кинокамеру с цветной плёнкой, научился снимать сам и научил меня. Я немало заснял Гротеволя с супругой, снимал и он меня на фоне Кавказских гор. Приехав, Гротеволь смонтировал кинофильм и показывал его гостям, в числе которых я не был. Один работник ЦК рассказывал, что видел этот фильм и кадры со мной.

В третий приезд Гротеволя, в ноябре 1955 года, я был уже начальником отдела, завален делами и пытался отделаться от очередной бездельной поездки. Но председатель ВОКСа Денисов строго сказал, что Гротеволь просил персонально обо мне и отказать ему в такой пустячной просьбе политически недопустимо.

На обратном пути из Кисловодска в Москву, в поезде, Гротеволь подарил мне свою книгу «Тридцать лет спустя» с дарственной надписью. Я тут же, в пути, прочитал её, что было правильно и уважительно, но указал автору на две или три неточности, что было неправильно и неуважительно, как я понял, по выражению его лица. Кстати, Гротеволь говорил мне, что намеревается написать книгу о положении женщины при социализме, некое продолжение устаревшей книги Бебеля. Выполнил ли он это намерение, я не знаю.

В Гагре Гротеволь иногда принимался рисовать с натуры; рисунки вышли вполне любительскими, даром он не обладал.

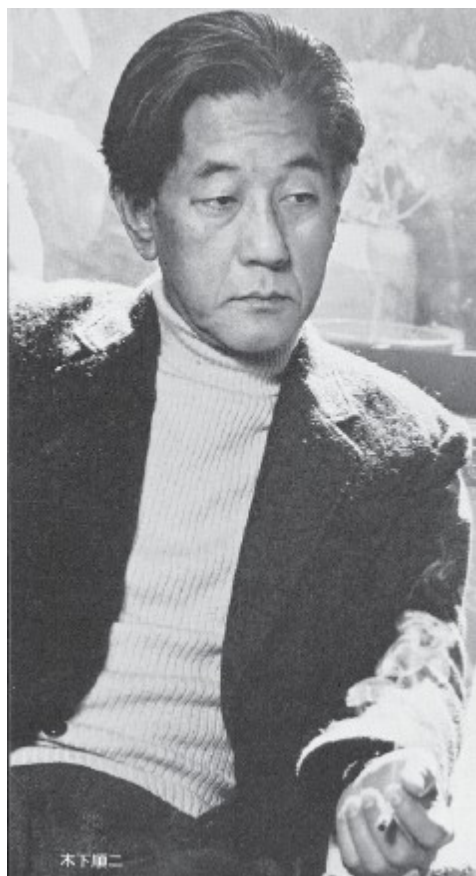


Дарственная надпись О. Гротеволья на его книге «Dreißig Jahre später»

В феврале 1960 года меня командировали на Лейпцигскую ярмарку в качестве заведующего советским отделом пресс-центра. 28 февраля советский павильон посетил Гротеволь со свитой. Пояснения давал директор павильона Иванов, бывший генерал-полковник. Мы, советские сотрудники, скромно выстроились вдоль стен. Тут Гротеволь заметил меня, прервал осмотр, радостно подошёл и пожал руку, сказав какую-то любезную фразу. Разумеется, после этого мои акции в глазах советских сотрудников сильно выросли. Но Гротеволь трудно было узнать: он сильно похудел и ссутулился, лицо его избороздилось морщинами, «чемоданчика» как не бывало. Видно было, что он серьёзно болен. В хвосте правительственной процессии я увидел Иоанну, с которой мы дружески и спокойно поговорили.

В 1964 году Гротеволь умер от рака лёгких, хотя никогда в жизни не курил. Вспоминаются слова Чехова: «Мы умираем не от того, от чего всю жизнь лечимся». О лёгких во время врачебных осмотров Гротеволья в Кисловодске не было и речи.

Кажется, в ГДР издали его дневники. Любопытно было бы посмотреть, есть ли в них что-нибудь о летнем отдыхе в СССР, свидетелем и участником которого мне пришлось быть.



Дзюндзи Киносита

Большинству читающих, если только они не изучали мировую драматургию или культуру Дальнего Востока, это имя ничего не говорит. Поясню: Дзюндзи Киносита – крупнейший японский драматург современности, почитаемый всей Страной восходящего солнца^[49]. Сборник его пьес издан у нас в серии «Библиотека современной драматургии».

30 июня 1955 года утром мой начальник Н.А. Визжилин вызвал меня и сказал: есть указание организовать пребывание в Ленинграде иностранных делегаций, которые возвращаются со Всемирной ассамблея мира, закончившейся в Хельсинки. Вместе с другими сотрудниками ВОКСа я должен работать в «штабе», который он возглавит, в Ленинграде. Всё это продлится два дня,

поезд уходит днём, билеты готовы, никаких сборов не потребуется. Семья была на даче, времени не было, я явился на вокзал к поезду не только без чемодана, но даже без какой-либо сумки, что вызвало подозрительные взгляды проводников: ничего себе пассажир дальнего следования!

Как обычно, спешка оказалась излишней. Делегации начали прибывать в Ленинград только 2 июля вечером. До 6 июля мы крутились с ними в Ленинграде, ездили на различные мероприятия. Командировка затягивалась: пришлось купить рубаху преднамеренно тёмного цвета и носильную сумку.

Однако 6 июля Визжилин вызвал меня в свой «штаб» и приказал везти не то 60, не то 70 японцев сразу из Ленинграда в Киев и только после Киева в Москву. Я назначался старшим, в помощь мне выделили заместителя и двух опытных советских переводчиков. Наняли два вагона. В 23.00 поезд отправился в Киев.

Никогда с японцами я не общался, в Японии не был и только тут впервые столкнулся с этой удивительной нацией. Количество подопечных устроило меня, но пригодился армейский опыт: я разбил гостей на две группы (взвода) в соответствии с размещением в двух вагонах, на каждую группу поставил переводчика, группы разбил на отделения со старшими (отделёнными) из японцев. Договорился с вагоном-рестораном о выделении специального времени для нашего двухсменного питания.

Опасения мои оказались излишними. Японцы проявляли полное послушание и беспрекословную дисциплину. Даже с десятью европейцами мне было бы труднее, чем было с шестьюдесятью или семьюдесятью японцами.

Ехали полтора суток через Витебск, Оршу, Могилев. Погода стояла дивная, пейзажи вокруг были изумительными. Одна беда: мои японцы отличались редкостным любопытством. На каждой станции – а их было много – все до одного высыпали из вагонов и разбредались по перрону. Притом садились в вагоны только перед самым отправлением. Мне стоило большого труда своевременно загнать их всех в вагоны, сам садился уже на ходу. На одной из станций случился конфуз: я безуспешно требовал, чтобы застрявший на перроне узкоглазый мужчина срочно садился в отходящий поезд, тот упорно отказывался. Наконец мои японцы жестами показали мне: «Это не наш». Оказалось, что то был какой-то местный монгол.

Слава Богу, ни один японец не отстал от поезда: то-то было бы возни вытребовать его потом в Киев! Перед Киевом я через переводчиков и отделённых устроил проверку: все оказались на

месте.

Вначале японцы казались мне все на одно лицо, разве только мужчин я отличал от женщин, которых было немного. Несомненно, я дважды или трижды в день здоровался с одними, с другими же – ни разу. К концу поездки я стал их неплохо отличать друг от друга и даже дивился своей недавней незоркости и непамятливости. Сразу же бросился в глаза высокий длиннолицый мужчина с продолговатым носом – внешности, не характерной для японца. У него был строгий, немного грустный, задумчивый вид. «Это их знаменитый драматург Киносита», – пояснили мне переводчики. Мы познакомились и побеседовали: Киносита довольно сносно говорил по-немецки.

В Киеве нас ждали, была подготовлена насыщенная программа. Были и накладки: у одного из гостей в трамвае украли бумажник с деньгами, он сел писать возмущённое письмо в «Вечерний Киев». От письма отговорили, но бумажник не нашли, утрату компенсировали в советских деньгах. Возили всех на двух автобусах в колхоз имени Хрущёва в село Требухово. Там гостей накормили и угостили красным вином местного производства. Известная балерина, маленькая, изящная, как куколка, Микико Мацуяма прямо на лужайке изумительно грациозно станцевала перед колхозниками. Но с вином случилась беда: выпили-то всего стакан-полтора каждый, но сильно захмелели. Вино было слабое, но для маленьких японских желудков доза оказалась чрезмерной.

Опьянение их было необычным: они не распустились, не безобразничали, а только стали по-детски веселыми и необыкновенно добрыми. Всю обратную дорогу до Киева хохотали, как дети, и пели свои песни. Киносита тоже.

Японцы относились ко мне с огромным уважением, как выяснилось, вовсе не потому, что я исполнял роль старшего: импонировал мой рост. Оказалось, что высокий рост вызывает у японцев невольное почтение. Об этом они прямо мне сказали.

На прощанье в мою сумку посыпалась мелкие безделушки-сувениры. Дарил чуть ли не каждый. Я спросил переводчиков, нужно ли делать ответные подарки. Желательно, отвечали они. Но как и чем я мог одарить такое количество гостей?

Только 12 июля вечером я привёз делегацию в Москву. Целый час распределял их по номерам в гостинице «Европа», путаница была изрядная, мест не хватало, так как не учли разнополость. Наконец всех запихали в номера, я с облегчённым сердцем и с переполненной сувенирами сумкой направился домой.

Вот тут-то случился казус, позволивший мне глубже постичь тайны восточного характера. В углу коридора, в темноте, я

заметил сидящего на корточках мужчину, мурлыкающего себе под нос какую-то заунывную песенку. Была ночь. Вгляделся: то был Киносита.

– Почему вы здесь, господин Киносита?

– А мне негде спать, вот я и здесь, – спокойно и как-то обречённо ответил драматург.

– Как так? Вам же выделили номер.

– А меня не пустили. Там живут какие-то чужие люди. Ваши.

– Что же вы раньше же сказали? Мы бы всё устроили.

– Не беспокойтесь, что же делать, если нет места? Я и так ночь пересажу.

Всё это – без тени упрека или иронии. Традиционная восточная покорность выпавшей судьбе.

Разумеется, я поднял его и добился у запутавшегося администратора места для Киноситы. Он чинно благодарил меня, сложив ладони в вежливом полупоклоне.

Представляю себе, какой скандал учинил бы в такой ситуации даже самый незначительный европеец или американец! А случай с Киноситой – даже если это не был бы выдающийся драматург – запомнился на всю жизнь.

Вальтер Фельзенштейн



Вальтер Фельзенштейн

Этот крупный немецкий режиссёр добился того, чего не удалось даже Станиславскому: создал полноценный оперный театр, в котором высокая вокальная и музыкальная культура соединилась с актёрским мастерством певцов. С 1947 года берлинская «Комише опер», которой до самой своей смерти руководил Фельзенштейн, являет собой ансамбль непревзойденного уровня, свободный от неизбежных, казалось бы, на оперной сцене наигрыша и ремесленничества как вокалистов, так и хора^[50]. Постановки Фельзенштейна, свежие и изобретательные, совершенные по замыслу и отработке, вызывают у публики полный восторг.

В июне-июле 1951 года Фельзенштейн по приглашению ВОКСа побывал в СССР, ему подготовили широкую и разнообразную программу в соответствии с его интересами. Лично я с ним общался мало, гостя постоянно сопровождал

сотрудник нашего отдела Игорь Ведерников. Только однажды я присутствовал на беседе Фельзенштейна с членами театральной секции ВОКСа балетмейстером Р. Захаровым, театроведом П.А. Марковым и режиссёром Н.П. Охлопковым. Уже один перечень этих имён говорит о том, сколь глубокой и содержательной была беседа. Тем более мне тяжело признаться, что я не запомнил из неё ни слова, ни фразы. Ещё досадней, что это далеко не единственный подобного рода случай.

Ведерников возил Фельзенштейна с женой в Ленинград, ещё куда-то – словом, немецкому гостю был оказан достойный приём. Маленькая деталь: постоянно служа в ГДР, Фельзенштейн, однако, упорно сохранял австрийское гражданство. Явно страховался на всякий случай: с Австрией его ничего не связывало.

Фельзенштейн обладал видной, привлекательной внешностью: высокий рост, отличная фигура, благородная осанка, бархатный баритон. Во всех своих проявлениях он представлялся личностью незаурядной. Как режиссёр он заслуженно завоевал всемирное признание. В Москве он отлично поставил на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко «Кармен» Бизе с новым русским текстом Рожновского и с отсутствием музыкальных речитативов: как и у Бизе, певцы просто произносят текст.

Мы с Ведерниковым озорства ради прозвали между собой Фельзенштейна Фельзенкамушкиным. В то время повсюду подчёркивался русский приоритет в открытиях и изобретениях. Отсюда родился анекдот: некий советский лектор в своей лекции высоко отзывался о великом учёном Однокамушкине. «Кто же это такой?» – спросили его удивлённые слушатели. «Как, вы не знаете? – возмутился докладчик. – Альберт Эйнштейн на самом деле был русским учёным, и его правильнее называть Однокамушкиным».

Мы же шутки ради превратили Фельзенштейна в полурусского – Фельзенкамушкина.

30 июля 1951 года в маленьком банкетном зале «Националя» был устроен прощальный банкет для «Фельзенкамушкина». Присутствовала наша начальница Кислова, я, замещавший заведующего отделом, и двое приглашённых – режиссёр Ю.А. Завадский и театровед М.М. Морозов, в детстве – Мика Морозов, некогда изображённый В.А. Серовым на его замечательном полотне.

Все пришли вовремя, но Фельзенштейны, жившие в той же гостинице, всё не появлялись. Прибежал встревоженный Ведерников: с фрау Фельзенштейн истерика, она отказывается

идти на банкет, муж и Ведерников тщетно стараются её уговорить. Что же, пришлось ждать. Повадки фрау Фельзенштейн мне уже были известны: эта высокая, тощая и блёклая дама устраивала непрерывные сцены мужу.

Ожидавшие беседовали между собой. Морозов поведал, что бабушка его была египтянкой, отсюда у него также восточные черты лица. Завадский говорил, что завтра уезжает в командировку, оставляя вместо себя в театре А.Л. Шапса. Морозов спросил у Завадского, как проявляет себя его жена Бутомская, недавно назначенная завлитом в Театр Моссовета; Завадский сдержанно хвалил. Время шло, снова прибежал Ведерников с обнадеживающим известием: кажется, мадам смягчилась.

– А какова собой госпожа Фельзенштейн? – спросили у меня Завадский и Морозов.

Я, обозлённый, искренне отвечал:

– Страшная мегера: ни рожи, ни кожи.

– Вот как? – удивились мужчины. – Что же она так себя ведёт?

Наконец явились заплаканная и припудренная жена режиссёра и сам режиссёр, смущённый и извиняющийся. Сели за маленький стол на семь приборов. Всё вроде бы пошло нормально, но вдруг мадам выскочила из-за стола, выбежала, за ней муж.

– М-да, характерец, – заметил Завадский. – Но насчёт внешности вы нас дезинформировали: дама очень интересная.

Оба старых жуира наперебой стали срамить меня: я-де ничего не понимаю в женщинах. Помимо прочего, заявлял Морозов, чувствуется, что у неё огромный темперамент.

Я никак не мог разделить их восторгов и оставался при своём мнении.

Вскоре темпераментная дама вернулась вместе с мужем, и банкет закончился гладко. Услышав от Завадского и Морозова щедрые комплименты, она даже заулыбалась и чуть расцвела.

1 августа Фельзенштейн с супругой отъезжал к себе в Берлин. Конечно, такая фигура была достойна самых почётных проводов, но – может показаться невероятным – олицетворять советскую общественность на вокзале должен был только я как представитель ВОКСа. Тут впору было бы обидеться Фельзенштейну, но ему было не до провожающих. Ещё издали я увидел на ступеньках вагона одинокую и грустную фигуру Ведерникова.

– Где Фельзенкамушкины?

– В купе, – печально махнул он рукой. – Она опять разыгралась, мочи нет.

Я принёс для мадам огромный букет каких-то белых цветов. Войдя в двухместное купе, я узрел безрадостную картину – смертельно расстроенного Фельзенштейна и бьющуюся в отчаянных рыданиях супругу.

Поздоровавшись со мной, режиссёр пытался внушить жене:

– Мария, послушай меня, Мария, прошу тебя, перестань: господин Федосюк пришел попрощаться с нами, цветы тебе принёс.

Наконец Мария подняла на меня злые, заплаканные глаза, я всучил ей букет. Обняв его обеими руками, она опять затряслась в горьких всхлипах.

Положение становилось неловким. Я вышел на платформу. Ведерников горестно сообщил:

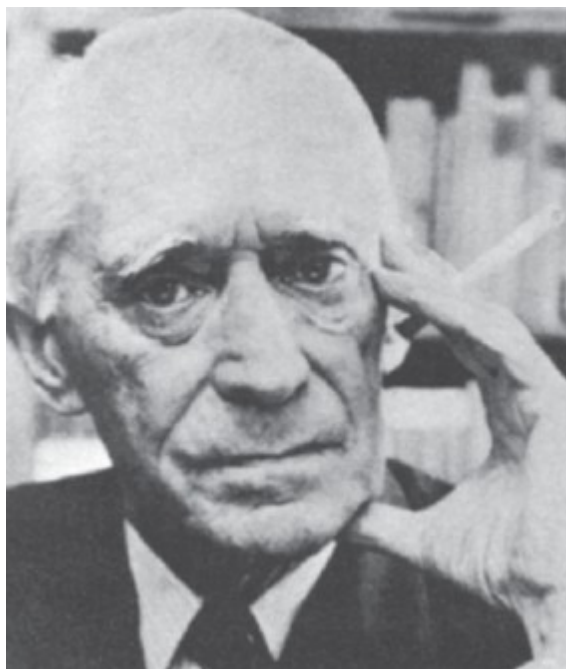
– Вот так с самого утра. Едва удалось уговорить вещи сложить и на вокзал поехать.

Близился отход поезда. Мы пришли в купе, попрощались с растерянным режиссёром, поклонились не поднявшей лица плачущей Марии и с радостью покинули вагон. Поезд отправился.

На другой день в отделе мы рассуждали: что заставляет умницу, выдающегося режиссёра, за которого любая достойная женщина сочла бы за честь выйти замуж, жить с истеричкой, отравляющей ему жизнь и отвлекающей от творческой работы. Мария была не первой его женой, детей у них не было, к театру никакого отношения она не имела.

– Да, чужая семейная жизнь – потёмки, – заметил кто-то из нас. – Но чем-то она его держит.

Так я и не знаю, чем и как ещё долго держала Мария Фельзенштейна. Он умер в 1975 году. Неужели так и не расставшись с ней?



Леонхард Франк

Делегация советских писателей, которую в 1960 году я сопровождал в поездке по ФРГ, 7 декабря прибыла в Мюнхен. Вечером 8 декабря в Кюнстлерхаузе состоялась встреча с ведущими западногерманскими писателями; пришли Кёппен, Рихтер, Штоль и другие. Но самой крупной фигурой на встрече был престарелый романист Леонхард Франк, явившийся с женой^[51]. Он пригласил нас навестить его дома на следующий день.

Высокий, тонкий, как жердь, Франк принял нас очень радушно. Говоря о положении в ФРГ, он клял всех и вся: писателям страны нужны-де только деньги, никаких идей у них нет, равно не любят фашизм и коммунизм, а что, кроме денег, любят, неизвестно. Вместо положительных идеалов в их душах пустота. Популярная «Группа-47» (объединение прогрессивных писателей) – дерьмо, ничего не стоит. Будучи в СССР, он впервые увидел и почувствовал подлинных друзей, услышал настоящие слова. Его, Франка, неохотно печатают в ФРГ, но и в ГДР, где его вроде бы жалуют, издание пересланных книг происходит со

скрипом. Тут он с яростью напустился на издательства ГДР, обвиняя их в косности, бюрократизме, бездушии.

В разговор постоянно ввязывалась жена Франка, дама весьма оригинальная. Есть женщины, которые чуть ли не с детских лет избрали себе определенный образ и, сколько бы ни прошло времени, из этого образа выйти не хотят или уже не могут. Фрау Франк выбрала себе роль жеманной, кокетливой кошечки, что уже не шло к её возрасту: ей было под 60, а может быть, и больше. Она сохранила стройность фигуры, но хорошенькое некогда личико уже сильно увяло и обморщилось.

Изящно откинувшись в кресле, фрау Франк ни к селу ни к городу вдруг начала вспоминать о том, как познакомилась с писателем: «Франки (так она называла мужа), помнишь, как я первый раз тебя увидела? Это было на теннисном корте, ты был так красив и изысканно элегантен, что я мгновенно в тебя влюбилась. Говорили, что ты самый элегантный мужчина Мюнхена, а я была совсем девчонка. Ты был тогда с Кэте Дерш (известная актриса), вспоминаешь? Разве я могла тогда вообразить, что стану твоей женой? А через 17 лет мы встретились на ферме и начался наш бурный роман».

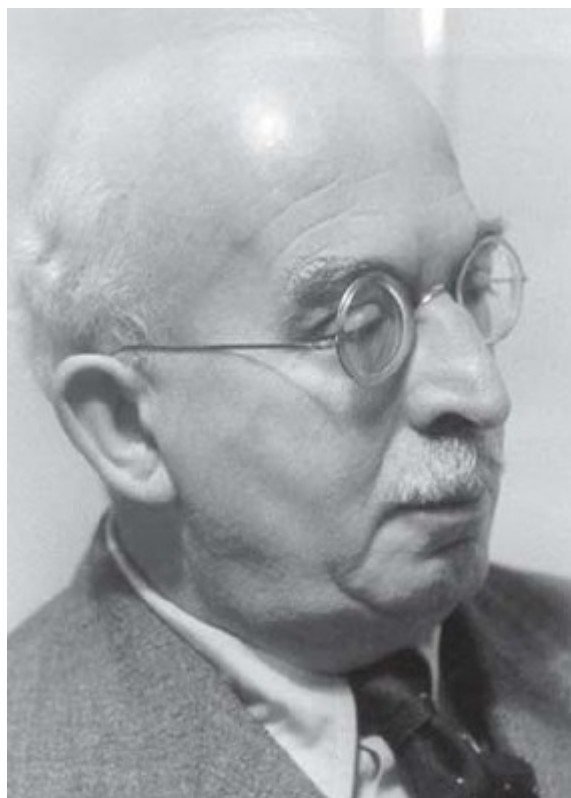
Старый писатель старался пресечь эти ненужные излияния, но жена не унималась. «Ну, Франки, почему же ты мне не даёшь говорить, какой ты зло-о-ой, ведь им интересно...» И продолжала свою болтовню, стараясь оставаться в центре внимания.

Затем Франк повез нас в знаменитый мюнхенский ресторан «Халали», что в переводе означает охотничий клич, наподобие нашего «Улюлю». Здесь за счет Франка мы полакомились оленятиной, запивая её терпким мозельвейном.

Многие убеждены, что выдающиеся люди, тем более писатели, только и делают, что изрекают мудрости. Мой скромный опыт доказывает, что это не так. В ресторане подвыпивший Франк говорил всякую чепуху или же о чём-то нас расспрашивал, неизменно выражая нам свои горячие симпатии. Он интересовался, на чём мы передвигаемся по ФРГ, что мы видели и собираемся увидеть. Прерывая утомительную болтовню жены, он довольно грубо сказал: «Не обращайтесь на неё внимания, она всегда ко всем мужчинам лезет. Вот бы, Мици, тебе с ними поехать, в их автобусе, как раз по тебе – четверо мужчин и ты одна». В ресторане цимбалист играл «Очи чёрные» и «Горячие бублики» – думаю, что репертуар этот был заказан для нас самим Франком.

На следующий день мы покинули Мюнхен и поехали в Альпы, к живописному Боденскому озеру, которое другим берегом выходит к Швейцарии.

Менее чем через год Леонхард Франк умер. В Доме дружбы решили устроить вечер его памяти. Стали перебирать, кто из советских общался с ним последний, вспомнили писательскую делегацию. Но Анисимов куда-то уехал, Стельмах сидел в Киеве, Лупан – в Кишинёве. На худой конец оставался я. Мне позвонили и попросили выступить с воспоминаниями. Сдуру я согласился, а потом стал думать: что же буду говорить? Мнение его о западногерманских писателях было однобоко и несправедливо. Нелестные слова об издательствах ГДР тоже не годились. Совет жене отправиться в путешествие с нами никак не красил покойного писателя. Что же оставалось? Общие комплименты в адрес советских литераторов без конкретных фактов и имён никому не были бы интересны. Я испугался и в последний момент сказался больным. А вот теперь написал о том, о чём мог бы, но не стал говорить.



Арнольд Цвейг

После войны этот известный в своё время романист поселился в Восточном Берлине, был обласкан властями как антифашист и избран президентом Академии искусств ГДР^[52]. Не помню, по чьему приглашению в марте 1952 года он приехал в Москву. Меня попросили сделать письменный перевод на русский язык его речи, которую он где-то (где?!) готовился произнести. Чтобы взять текст, я поехал в гостиницу «Метрополь», где Цвейг остановился.

Маленький, полный, лысый Цвейг казался гораздо старше своего возраста, а было ему тогда 65 лет. Он страдал сердцем и многими другими хворями. Носил толстые очки. Был изысканно мил и любезен. Попросил проводить его в поликлинику Совета Министров в Сивцевом Вражке. Цвейг был с женой. В Калашном переулке я почему-то немного отстал от них и разглядел супругов сзади. Они представляли собой комичную пару – низенькие, как

грибки, старички, нежно шедшие под руку. Жена бросалась в глаза своими брюками: женские брюки в то время у нас были редкостью, и в её возрасте и при её фигуре выглядели малоизящно.

По дороге мы вели литературный разговор, в ходе которого я обмешулился. С юных лет считая, что Стефан и Арнольд Цвейг – родные братья, я сказал: «Ваш брат Стефан побывал в СССР ещё в 1927 году...» Писатель усмехнулся и сказал: «Это заблуждение. Стефан Цвейг никогда не был моим братом, а только знакомым. Но вы и не совсем неправы: мы очень дальние родственники. Род Цвейгов, к которому принадлежим мы оба, берёт начало в XV (или в XVIII – не помню) веке в Моравии».

В другой раз я смотрел с супругами цветные фильмы «Лесная была» и «Звериной тропой». На этом знакомство кончилось.

Несмотря на хвори и немощь, А. Цвейг ещё долго прожил. Он умер в 1968 году, в 81 год.

notes

Примечания

ВОКС – Всесоюзное общество культурной связи с заграницей. Просуществовало с 1925 г. по 1958 г., когда вместо ВОКСа был организован Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (ССОД).

Совинформбюро – Советское информационное бюро. Было образовано 24 июня 1941 г. для руководства работой по освещению в периодической печати и по радио международных, военных событий и событий внутренней жизни СССР. В послевоенные годы сосредоточило свою деятельность на пропаганде внутренней и внешней политики СССР за рубежом. В 1961 г. на базе Совинформбюро было создано Агентство печати «Новости» (АПН), в 1991 г. преобразованное в Российское информационное агентство «Новости» (РИА «Новости»).

Александров Григорий Васильевич (1903–1983) – советский кинорежиссёр, народный артист СССР, создатель фильмов «Весёлые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь», «Весна» и др.

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ) была открыта на севере Москвы в 1939 г. С 1941 по 1954 г. она не функционировала, а затем после реконструкции возобновила свою работу. В 1958 г. была преобразована в Выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ), а в 1989 г. – во Всесоюзный, а затем во Всероссийский выставочный центр (ВВЦ).

ВОКС, а впоследствии образованный на его основе Дом дружбы с народами зарубежных стран помещался в знаменитом московском доме Арсения Морозова – особняке мавританского стиля, расположенном неподалеку от станции метро «Арбатская» (ул. Воздвиженка, 16).

Берия Лаврентий Павлович (1899–1953) – политический и государственный деятель СССР. В 1938–1945 гг. народный комиссар, в 1953 г. министр внутренних дел СССР. В феврале 1941 – марте 1953 г. заместитель председателя Совнаркома (Совета Министров) СССР. Курировал ряд важнейших отраслей оборонной промышленности, в том числе все разработки, касавшиеся «атомного проекта». Входил в ближайшее политическое окружение И.В. Сталина; один из активных организаторов массовых репрессий 1930-х – начала 1950-х гг. В июне 1953 г. выведен из ЦК КПСС, исключён из партии, снят со всех государственных постов, арестован по обвинению в шпионаже и заговоре с целью захвата власти, объявлен агентом иностранных спецслужб. По приговору Специального судебного присутствия Верховного суда СССР в декабре 1953 г. расстрелян.

Андроников Ираклий Луарсабович (1908–1990) – русский советский писатель и литературовед, доктор филологических наук, исследователь жизни и творчества М.Ю. Лермонтова, мастер устного рассказа, в 1982 г. удостоенный звания «Народный артист СССР».

Ардов Виктор Ефимович (1900–1976) – русский советский писатель, автор юмористических рассказов, сценок, фельетонов, а также сценариев кинофильмов «Светлый путь» (1940, реж. Г. Александров) и «Машина 22–12» («Счастливый рейс», 1946, реж. В. Немоляев).

Введенский Борис Алексеевич (1893–1969) – советский радиофизик, академик АН СССР, в 1951–1969 гг. главный редактор Большой советской энциклопедии.

Водопьянов Михаил Васильевич (1899–1980) – советский лётчик, Герой Советского Союза, в 1934 г. участник спасения экипажа парохода «Челюскин», в 1937 г. – воздушной экспедиции на Северный полюс, в Великую Отечественную войну – командир дальнебомбардировочной авиадивизии.

Вышинский Андрей Януарьевич (1883–1954) – заместитель прокурора и прокурор СССР в 1933–1939 гг., государственный обвинитель на фальсифицированных политических процессах 1930-х гг. Выдвинутые в работах Вышинского положения были направлены на обоснование грубых нарушений законности, массовых репрессий, в частности, путём придания значения ведущего доказательства признанию обвиняемого. В 1940–1953 гг. на руководящих постах в МИД СССР (в 1949–1953 гг. министр).

Герасимов Александр Михайлович (1881–1963) – советский живописец, народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР, доктор искусствоведения. Автор картин «Ленин на трибуне», «И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов в Кремле», «Гимн Октябрю» и др.

Музей нового западного искусства – собрание произведений западноевропейской живописи и скульптуры с начала 60-х годов XIX в. (преимущественно французских импрессионистов). В основе – коллекции С.И. Щукина и И.А. Морозова. Собрание Щукина было открыто в 1918 г. как 1-й Музей новой западной живописи (Б. Знаменский переулок, 8); собрание Морозова – в 1919 г. как 2-й Музей новой западной живописи (Пречистенка, 21). В 1923 г. оба музея объединены в Музей нового западного искусства, который с 1925 г. стал филиалом Музея изящных искусств (ныне Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). По данным энциклопедии «Москва» (М., 1997), музей был ликвидирован не в 1944, как пишет Ю.А. Федосюк, а в 1948 г., после чего его фонды были распределены между Музеем изобразительных искусств и Эрмитажем.

Герасимов Сергей Васильевич (1885–1964) – советский живописец, народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР, доктор искусствоведения. Автор картин «Клятва сибирских партизан», «Колхозный праздник», «Мать партизана» и др.

Каверин Вениамин Александрович (1902–1989) – русский советский писатель, автор романов «Исполнение желаний», «Два капитана», «Открытая книга» и др.

Козловский Иван Семёнович (1900–1993) – советский певец (лирический тенор), народный артист СССР. В 1926–1954 гг. солист Большого театра СССР.

Меркуров Сергей Дмитриевич (1881–1952) – советский скульптор-монументалист, народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР. Автор установленных в Москве памятников К.А. Тимирязеву (у Никитских ворот), Ф.М. Достоевскому (у здания бывшей Мариинской больницы – ул. Достоевского, 2), Л.Н. Толстому (перед зданием Музея Толстого на Пречистенке), а также статуи Ленина, многие годы находившейся в центральной нише Зала заседаний Большого Кремлёвского дворца, памятника И.В. Сталину на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (демонтирован в 1953 г. – см. об этом в главе «Григорий Александров») и других работ.

Мравинский Евгений Александрович (1903–1988) – советский дирижёр, народный артист СССР, с 1938 г. главный дирижёр оркестра Ленинградской филармонии.

Юрьев Юрий Михайлович (1872–1948) – русский актёр, народный артист СССР. В 1893–1948 гг. работал в Александринском театре (Ленинградский академический театр драмы); в 1922–1928 гг. возглавлял его. В 1919 г. участвовал в создании Большого драматического театра в Петрограде.

ИФЛИ (или МИФЛИ) – Московский институт истории, философии и литературы, вуз, сформированный в 1931 г. в результате реорганизации гуманитарных факультетов МГУ. В институте преподавали историки Б.Д. Греков, Ю.В. Готье, С.Д. Сказкин, В.С. Сергеев, М.Н. Тихомиров, филологи Д.Д. Благой, Н.К. Гудзий, философ Б.Э. Быховский. В декабре 1941 подразделения МИФЛИ вновь слились с соответствующими факультетами МГУ.

Наровчатов Сергей Сергеевич (1919–1981) – русский советский поэт, с 1974 г. главный редактор журнала «Новый мир».

Улица Мархлевского – так с 1927 по 1993 г. именовался современный Милютинский пер.

Улица Кирова – существовавшее с 1935 по 1990 г. название современной Мясницкой улицы.

Нейгауз Генрих Густавович (1888–1964) – советский пианист, педагог, народный артист РСФСР. Создатель одной из авторитетнейших фортепьянно-исполнительских и педагогических школ (из его класса вышли Э.Г. Гилельс, С.Т. Рихтер, Я.И. Зак, Т.Д. Гутман, В.В. Горностаева, А.И. Ведерников, Е.А. Малинин, С.Г. Нейгауз).

Дом по адресу: ул. Земляной Вал (бывш. ул. Чкалова), 14–16. Кроме Г.Г. Нейгауза в этом доме жили лётчик В.П. Чкалов, композитор С.С. Прокофьев, поэт С.Я. Маршак, художники К.Ф. Юон и Кукрыниксы (М.В. Куприянов, П.Н. Крылов, Н.А. Соколов), скрипач Д.Ф. Ойстрах.

Ойстрах Давид Фёдорович (1908–1974) – советский скрипач, педагог, дирижёр, народный артист СССР. Среди учеников Д.Ф. Ойстраха – Г.М. Кремер, В.А. Климов, Л.А. Исакадзе, О.В. Крыса, В.А. Пикайзен, О.М. Каган, С.И. Снитковский.

Полевицкая Елена Александровна (1881–1973) – русская актриса. Играла в Петербурге, Харькове, Киеве и других городах. С 1920 г. в эмиграции. В 1955 г. вернулась в Россию. Преподавала в театральном училище им. Щукина, снималась в кино («Муму», 1959 г., «Пиковая дама», 1960 г.).

Розов Виктор Сергеевич (1913–2004) – русский советский драматург, автор пьес «В добрый час!», «В поисках радости», «Вечно живые» (экранизирована под названием «Летят журавли») и др.

Симонов Константин Михайлович (1915–1979) – русский советский писатель, автор стихов, поэм, прозаических произведений (роман-трилогия «Живые и мёртвые»), пьес («Парень из нашего города») и др.

Сталин Иосиф Виссарионович (1879–1953) – политический и государственный деятель СССР. С 1922 г. Генеральный секретарь Российской коммунистической партии (большевики) – РКП(б) (с 1925 г. партия стала именоваться Всесоюзной коммунистической партией (большевики) – ВКП(б), а с 1952 г. – Коммунистической партией Советского Союза – КПСС); с 1941 г. председатель Совета народных комиссаров (Совета министров) СССР; в период Великой Отечественной войны – председатель Государственного комитета обороны, Верховный главнокомандующий, нарком обороны (в 1946–1947 гг. министр Вооружённых Сил).

Сурков Алексей Александрович (1899–1983) – русский советский поэт, автор текстов популярных песен «Конармейская», «Землянка» и др.

Твардовский Александр Трифонович (1910–1971) – русский советский поэт, автор поэм «Страна Муравия», «Василий Тёркин», «Дому дороги», «За далью – даль» и др. В 1950–1954 и 1958–1970 гг. был главным редактором журнала «Новый мир».

Федин Константин Александрович (1892–1977) – русский советский писатель, автор романов «Города и годы», «Братья», трилогии «Первые радости», «Необыкновенное лето», «Костёр» и др.

Флиер Яков Владимирович (1912–1977, Москва) – советский пианист, педагог, народный артист СССР. Флиер воспитал множество учеников, в их числе Л.Н. Власенко, Р.К. Щедрин, В.В. Постникова, М.В. Плетнёв.

Шапорин Юрий Александрович (1887–1966) – советский композитор, педагог, народный артист СССР, автор симфонии-кантаты «На поле Куликовом», оратории «Сказание о битве за русскую землю», оперы «Декабристы». Учениками Ю.А. Шапорина были Е.Ф. Светланов, А.Г. Флярковский, Р.К. Щедрин.

Барсова Валерия Владимировна (1892–1967) – советская оперная певица (лирико-колоратурное сопрано), народная артистка СССР. В 1920–1948 гг. пела в Большом театре, в 1950–1953 гг. преподавала в Московской консерватории.

Шолохов Михаил Александрович (1905–1984) – русский советский писатель, академик АН СССР, лауреат Нобелевской премии. Автор сборника «Донские рассказы», романов «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они сражались за Родину» и др.

Имеется в виду московская квартира М.А. Шолохова в Староконюшенном пер., в которой писатель, постоянно проживавший в станице Вёшенской Ростовской обл., в описываемое время останавливался в Москве.

Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906–1975) – выдающийся советский композитор, народный артист СССР, доктор искусствоведения. Автор множества опер, в том числе «Катерина Измайлова», симфоний, ораторий и др.

Впервые данный очерк Ю.А. Федосюка о Шостаковиче был в сокращённом виде опубликован в журнале «Советская музыка» (1991. № 9).

Популярная в 1950-е гг. песня на стихи Е. Долматовского.

Уланова Галина Сергеевна (1909–1998) – советская артистка балета, педагог, народная артистка СССР.

Берсенеv Иван Николаевич (1889–1951) – советский актёр, режиссёр, народный артист СССР, с 1938 г. художественный руководитель и ведущий актёр Московского театра им. Ленинского комсомола.

Нестеренко Евгений Евгеньевич (род. в 1938 г.) – российский певец (бас), педагог, народный артист СССР.

Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967) – русский советский писатель и публицист, автор романов «Хулио Хуренито», «Падение Берлина», повести «Оттепель», художественных мемуаров «Люди, годы, жизнь».

Андерсен-Нексе Мартин (1869–1954) – датский писатель, автор романов «Пелле-завоеватель», «Дитте – дитя человеческое» и др.

Бёлль Генрих (1917–1985) – немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии. Автор романов «И не сказал ни единого слова», «Глазами клоуна», «Потерянная честь Катарины Блюм», «Групповой портрет с дамой» и др.

Бидstrup Херлуф (1912–1988) – датский художник-карикатурист, автор серий юмористических и сатирических рисунков на бытовые темы и политических карикатур.

Гротеволь Отто (1894–1964) – один из основателей и председателей Социалистической единой партии Германии, с 1949 г. – премьер-министр Германской Демократической Республики.

Киносита Дзюндзи (р. 1914) – японский драматург и теоретик театра, автор пьес «Журавлиные перья», «Остров Окинава», «Японец по имени Отто» и др.

Фельзенштейн Вальтер (1901–1975) – немецкий оперный режиссёр, основатель и руководитель театра «Комише опер».

Франк Леонхард (1882–1961) – немецкий писатель, автор романов «Разбойники», «Ученики Иисуса», «Слева, где сердце» и др.

Цвейг Арнольд (1887–1968) – немецкий писатель, автор цикла романов «Большая война белых людей», романов «Вандсбекский топор», «Мечта дорога» и др.